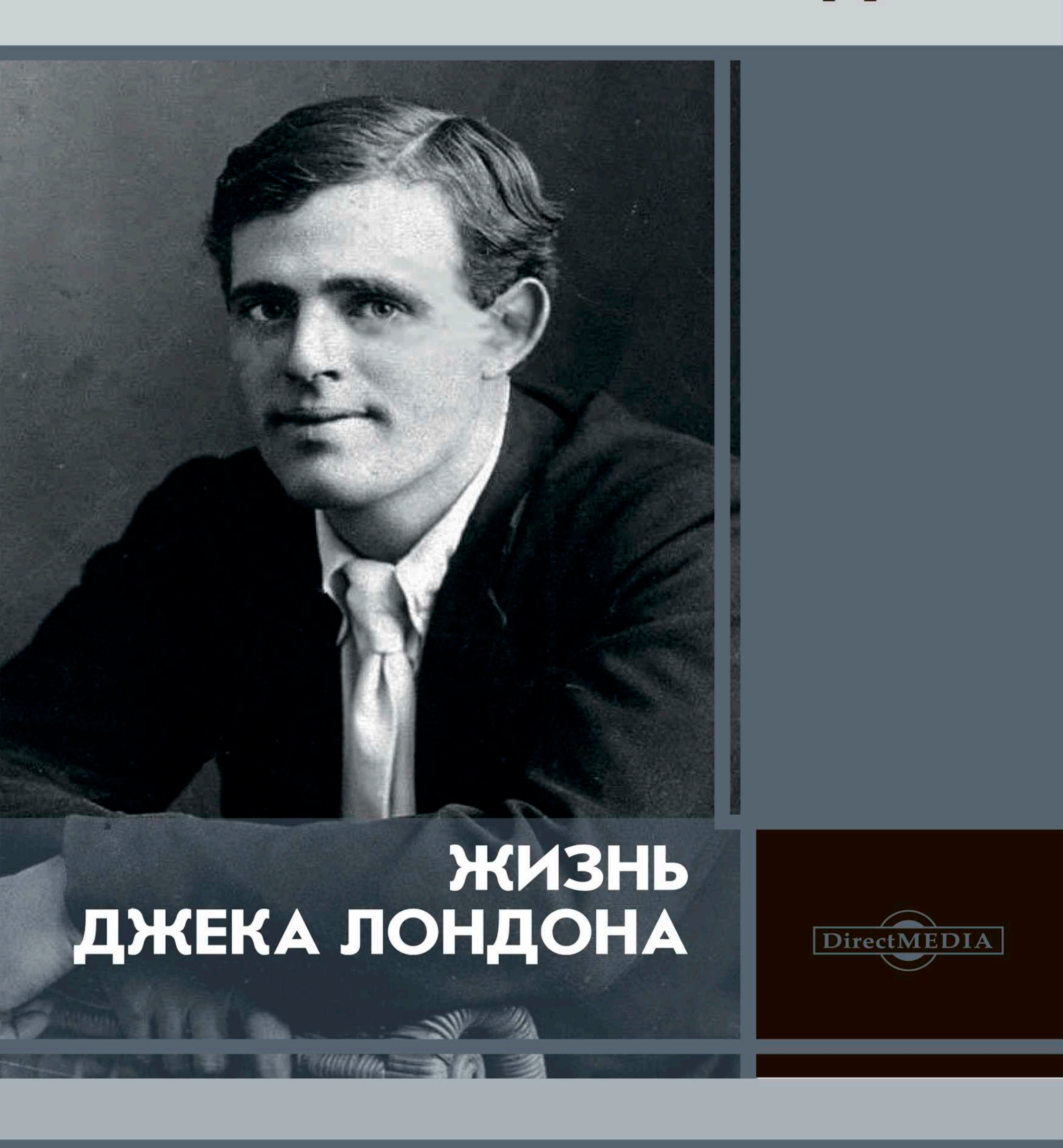
МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧАРМИАН ЛОНДОН



ЖИЗНЬ ДЖЕКА ЛОНДОНА

DirectMEDIA

Чармиан Лондон

Жизнь Джека Лондона



Москва
Берлин
2019

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)
Л76

Лондон, Чармиан

Л76 Жизнь Джека Лондона / Ч. Лондон. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 180 с.

ISBN 978-5-4499-0231-3

Джек Лондон, один из самых известных и наиболее переводимых американских писателей, называл свою последнюю жену Чармиан Киттредж «женщина-товарищ», что было в его устах наивысшей похвалой для женщины. Она обладала писательским талантом, любила путешествовать, умела боксировать и фехтовать. Именно Чармиан написана одна из лучших биографических книг о Дж. Лондоне, в которой перед читателем открываются многие неизвестные стороны жизни писателя и рассказывается о закулисной стороне его творчества.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)

ISBN 978-5-4499-0231-3

Введение. Первое знакомство

– Мне хочется познакомить тебя с этим замечательным мальчиком – Джеком Лондоном, – сказала мне как-то весной 1900 года моя тетка с улыбкой в серьезных синих глазах. – Я хотела бы знать твое мнение о нем.

– Хорошо, – рассеянно ответила я. – Когда же?

– Он будет у меня завтра, хотя, пожалуй, слишком рано для тебя. Но на днях мы должны встретиться с ним в музее. Я хочу сфотографировать его в алясских мехах для иллюстрации к моей статье. А потом поведу вас обоих завтракать.

– Вы поведете его завтракать? – возмущенно переспросила я.

– Дорогая, я знаю, у него нет ни одного лишнего цента. Итак, я угощаю вас обоих завтраком в половине первого. Не знаю, что ты о нем скажешь, – добавила она неуверенно, – он так не похож на твоих знакомых.

На следующий день, возвращаясь домой, я столкнулась у входа с тетей, провожавшей какого-то странного гостя. Гость был в потертых велосипедных штанах, в шерстяной рубашке и неописуемом галстуке. В руке он держал старую кепку. Последовало быстрое знакомство в полутемной передней, освещенной сквозь цветные стекла лучами заходящего солнца. Затем явно смущенный юноша легко сбежал по ступеням крыльца, надвинул кепи на густые каштановые кудри и умчался на велосипеде.

– Это и есть хваленый Джек Лондон? Он не очень-то элегантен, – заметила я.

– Пожалуй, – согласилась тетя. – Но не надо забывать, что он талант, а для таланта костюм не имеет значения. И потом у него, наверно, нет другого.

– Но он не единственный талант среди ваших знакомых, – возразила я, – он только единственный, являющийся в таком виде.

В назначенный день я прямо со службы отправилась в ресторан.

В то время я служила машинисткой и стенографисткой в крупной торговой фирме в Сан-Франциско. Наше материальное положение не было особенно блестящим. Моя тетка и приемная мать Нинетта Эймс сотрудничала в журналах, а муж ее заведовал делами «Оверлендского ежемесячника».

Войдя в ресторан, я сразу увидала невысокую, темноволосую и синеглазую тетю и рядом с ней юношу в мешковатом сером костюме, купленном в магазине готового платья и ослепительно новом. На молодом человеке были открытые туфли, узкий черный галстук и новое кепи. Надо отметить, что это был первый и последний раз, когда нам довелось видеть Джека Лондона в жилете и крахмальном воротничке.

Первое, что мне бросилось в глаза и запомнилось на многие годы, – это широко раскрытые большие, прямые серые глаза, скромная, спокойная манера держаться и, главное, довольно большой красивый рот с особыми, глубокими, загнутыми кверху углами. И на всем этом какой-то отпечаток чистоты, нетронутости, так странно противоречащий слухам о романтическом, пожалуй, даже сомнительном прошлом этого широкоплечего, как матрос, двадцатичетырехлетнего юноши, члена опасной оклендской шайки, пирата, бродяги, авантюриста-золотоискателя… не говоря уже о тюремном заключении, которому он был подвергнут. То, что он был деятельным членом Социалистической рабочей партии, меня не пугало, хотя его социализм был более суров, более воинствен, чем тот, к которому я привыкла дома.

Не помню, о чем мы говорили за завтраком. Помню только, что он проявил интерес к моей работе, когда узнал, что я материально независима. Услыхав обращение тети ко мне, он взглянул на меня в упор и повторил, как бы прислушиваясь:

– Чармиан, Чармиан… какое прекрасное имя…

Мы говорили об утреннем посещении музея, о том, как нашему собеседнику приятно было снова увидеть привычный клондайкский костюм.

– Чармиан, – сказала вдруг миссис Эймс, – почему бы тебе не дать рецензии о «Сыне Волка»?.. Она могла бы выйти в том же номере, что и моя статья о мистере Лондоне.

Я уже говорила, что мы были связаны с «Оверлендским ежемесячником». По настоянию тети я иногда давала туда короткие заметки о новых книгах.

Джек взглянул на меня из-под резко очерченных бровей:

– Идет, мисс Кертридж? Тогда я сейчас же пошлю вам корректуру, чтобы вам не ждать книгу.

Через несколько дней, вернувшись домой после долгой прогулки, я нашла на своем столе длинные корректурные листы. Это были гранки «Сына Волка». Не снимая шляпы, я принялась за чтение и не встала с места, не шелохнулась, пока не дочитала все до конца.

Помню еще два вечера. Я играла на рояле по просьбе Джека, страстно любившего музыку. Потом показывала ему свою «берлогу». Он выказал живой интерес ко всем моим девичьим занятиям – музыке, рисованию, верховой езде и даже танцам.

– Я никогда в жизни не танцевал, – признавался он с сожалением, – никогда не имел времени на такие тонкости. Но я люблю смотреть, как танцуют.

В нем чувствовался острый голод к книгам и к музыке. Я вспоминаю, какими блестящими глазами смотрел он на полки моего книжного шкафа. Много лет спустя эта розовая комнатка фигурировала в качестве комнаты Дэд Мэзон в романе «День пламенеет».

Уж не помню, по какому поводу мы условились встретиться с ним семнадцатого апреля. Но за неделю до этого я

получила от него следующую, отпечатанную на машинке, записку:

«Дорогая Чармиан! Не могу увидеться с вами в субботу, как было условлено. Объяснение найдете в письме к вашей тете. Может быть, когда-нибудь в будущем.

Искренне преданный вам

Джек».

Я читала эту записку, когда в комнату вошла тетя. Вид у нее был расстроенный, в руках она держала письмо, также отпечатанное на машинке. Убитым голосом она прочла мне его:

«Дорогая миссис Эймс! Должен признаться, что вы имеете преимущество передо мной. Я еще не видал своей книги и не представляю себе, как она выглядит. Но зато и вы не можете представить себе, почему я не буду у вас в будущую субботу. Вы знаете, я все делаю быстро. В воскресенье утром у меня еще не было ни малейшего намерения сделать то, что я делаю теперь. Я отправился посмотреть дом, в который собираюсь переехать, и тут у меня зародилась эта мысль. Я решился. В субботу вечером я приступил к сватовству; в понедельник дело было на мази, и в будущую субботу я женюсь на Бесси Мадерн, кузине Минни Мадерн Фикс. В будущую субботу, как только все будет проделано, мы вскочим на велосипеды и отправимся в трехдневное путешествие, а затем – домой и за работу.

Я знаю, вы скажете: «Какой безрассудный мальчишка». Меня привели к этому разные глубокие соображения. Но я решительно отклоняю одно возражение: что я буду связан. Я уже связан. Потому что, даже когда я холост, у меня такое же хозяйство. И если я пожелаю отправиться в Китай, мне придется заботиться о доме, буду я женат или нет.

А так у меня поддержка, и я смогу посвящать больше времени работе. Ведь вы знаете: у нас только одна жизнь. Надо ее прожить

как следует. А затем у меня широкое сердце, и я буду чище и здоровее, если на меня будет надета узда, и меня не будет носить всюду, куда бы мне ни захотелось. Я уверен – вы поймете.

Благодарю вас за ваши милые слова по поводу выхода «Сына Волка». Я дам знать, когда вернусь и устроюсь, и попрошу вас и всех ваших прийти повидаться со мной и с моими. Я все устрою по возвращении. Венчание будет без приглашенных.

Извещения разошлем потом. Искренне преданный вам

Джек Лондон».

– Силы небесные! – воскликнула тетя. – Подумать только, что делает этот ребенок. Рассудочный, обдуманный брак для такого человека, как он, созданного для любви. «Только одна жизнь!.. И надо ее прожить как следует!» Мальчик, должно быть, сошел с ума, если думает, что такая хладнокровная женитьба – живая жизнь.

– Почему сошел с ума? Может быть, именно исключительно здоров или думает, что здоров, – равнодушно заметила я.

Затем Джек Лондон исчез с нашего горизонта. Только раз они приезжали с женой на велосипедах. Я уехала на Восток и в Европу и долго ничего не слыхала о нем, пока однажды случайно не прочла в калифорнийской газете, что у Джека Лондона родилась дочь.

Глава первая. Детство, отрочество и юность

Джек Лондон родился в Сан-Франциско[1] 12 января 1876 года. В то время отец его занимался подрядами и жил с женой и двумя маленькими дочерьми от первого брака Элизой и Идой в большом хорошем доме на Третьей улице. Так как Джон и Флора Лондон не принадлежали ни к какой официальной церкви, то ребенок так и не был окрещен и откликался на имя Джонни, пока, подросши, не выбрал по собственной инициативе имя Джек.

Флора Лондон не могла сама кормить ребенка, и к маленькому Джеку была взята кормилица-негритянка, миссис Прентис, иначе мамми Дженни. Мамми Дженни обожала «хлопковый мячик», как она называла своего белого питомца, и он всю жизнь отвечал ей самой горячей любовью.

Джеку было около пяти лет, когда семья перебралась на другую сторону залива – в Окленд. Джон Лондон сознавал свою неприспособленность к коммерческим делам, сумел вовремя ликвидировать дело и избежать полного разорения. На уцелевшие деньги он снял в аренду участок земли и занялся огородничеством. Для сбыта продуктов была открыта зеленная лавка.

– Мой отец был лучшим из людей, – не раз говорил мне Джек, – но он был слишком хорош по своей природе, чтобы выдержать ту жестокую борьбу за существование, которую

---

[1] Сан-Франциско – сокращенно Фриско – главный город и коммерческий центр Сев.-Амер. шт. Калифорния, важнейший торговый порт на берегу Тихого океана. Бухту С.-Франциско соединяет с океаном узкий пролив – Золотые Ворота, о которых неоднократно будет упоминаться далее. Климат С.-Франциско очень мягкий и ровный; летом никогда не бывает зноя, снег выпадает очень редко. Особый квартал города заселен китайцами.

приходится испытать каждому, желающему уцелеть в нашей анархически-капиталистической системе.

И на этот раз дело могло пойти успешно, если бы Джон Лондон не связался с компаньоном, который буквально ограбил и разорил его.

В Аламеде семья Лондонов переменила несколько квартир, так как у Флоры была страсть к переездам; но Джек запомнил только одну квартиру на Седьмой улице, потому что там впервые он надел штанишки. Правда, штанишки были прикрыты юбочкой; но Джек, не желая переносить подобного унижения, постоянно задирал юбочку, чтобы все прохожие могли убедиться в том, что он настоящий мужчина.

По рассказам сестры Джека, Элизы, это был прелестный, крепкий, здоровый ребенок.

– Вернее всего будет определить его как делового ребенка, – рассказывала она. – Я не помню его иначе как с книгой в руках.

Пяти лет он самостоятельно научился читать и писать. Внешне маленький Джек был застенчив и робок, но под этой робостью скрывалась огромная жажда понимания и симпатии, не находившая отклика ни в ком, кроме Элизы. Проявлять свои чувства было не принято в семье Лондонов.

– Я не помню, чтобы в детстве мать приласкала меня, – говорил Джек. – Помню только, что изредка отец проводил рукой по моей голове и говорил ласково: «Ай, ай, сынок!», если что-нибудь шло не так.

Говорят, что матери знаменитых людей редко бывают веселыми и жизнерадостными женщинами. Флора Лондон не составляла исключения. Она была абсолютно лишена жизнерадостности, молодости и веселья. «Она всегда была такая», – говорили о ней знакомые, когда она была уже пожилой женщиной. Джек не раз говорил мне: «Я не помню времени, когда моя мать не была бы старой».

Как одно из лучших воспоминаний об Аламеде сохранился в памяти Джека новенький, чистенький коттедж мамми Дженни. Там большеглазый белый мальчик всегда мог рассчитывать на радушный прием и вкусные пирожки. Мамми Дженни была чистокровная негритянка и гордилась этим. И хотя расовая гордость его матери наложила известный отпечаток на Джека, все же он не понимал, что дети миссис Прентис, Вилли и Анни, чем-то отличаются от него. Однажды, залепив помидором прямо в нос Вилли, он наивно крикнул: «Ой, Вилли! Я расплющил тебе нос, и теперь он совсем как у негра!».

По мере того как Джек подрастал, дела его отца становились все хуже и хуже. И хотя в доме всегда было достаточно еды, все же иногда ощущался недостаток в мясе. Для Джека, всегда называвшего себя «плотоядным», это было большим лишением. Я привожу выдержку из письма, написанного двадцатилетним Джеком девушке, в которую он был влюблен. Эта девушка потребовала от него, чтобы он бросил писанье и подыскал себе постоянный заработок.

«Если бы я последовал тому, что вы в своем письме называете долгом, что бы со мной сейчас было? Я был бы земледельцем и не мог бы делать ничего, кроме этой работы. Знаете ли вы, какое у меня было детство? Знаете, что однажды случилось со мной в школе Сан-Педро, когда мне было семь лет? Мясо! Я так изголодался по мясу, что однажды открыл корзинку одной девочки и украл кусочек мяса. Маленький кусочек в два моих пальца. Я съел его, но больше я не крал. В те дни я, как Исав, буквально готов был продать право первородства за миску супа, за кусок мяса. Боже мой! Когда другие мальчики от сытости швыряли куски мяса на землю, я готов был поднять их из грязи и съесть. Я не делал этого, но представьте себе развитие моего ума, моей души в таких материальных условиях. Этот инцидент с мясом характерен для всей моей жизни».

Из этого письма можно вывести заключение, что Джек иногда бывал склонен к преувеличениям, особенно когда усталый, разочарованный, он оглядывался на пройденный тяжелый путь. Но после долгих лет совместной жизни я могу сказать, что, несмотря на феноменальную выносливость, Джек обладал также чрезмерной чувствительностью, заставлявшей его страдать и физически и духовно более остро, чем обычно среднего человека; он преувеличивал не самый факт, но значение этого факта.

Помимо голода, у Джека сохранились в памяти об этом периоде жизни: унылый берег, обычно покрытый туманом, жалобы матери на то, что они – люди «старого американского происхождения» – не имеют другого общества, кроме «даго»[2] и ирландских эмигрантов, и, наконец, ужасное отравление алкоголем, чуть не стоившее ему жизни. В книге «Джон-Ячменное зерно» подробно описывается, как маленького Джека напоили допьяна итальянцы с соседней фермы.

Мальчик пил, потому что смертельно боялся этих итальянцев, а они восхищались ребенком, пившим, как бездонная бочка.

Когда Джеку был около восьми лет, ему случайно попалась книга Уйда – «Синьа». Эта книга, по признанию Джека, оказала самое большое влияние на избрание им карьеры писателя, большее даже, чем «Философия стиля» Спенсера[3].

---

[2] Даго – кличка итальянцев и других эмигрантов из латинских стран в Сев.-Амер. Соед. Шт.

[3] Уйда – псевдоним английской писательницы Луизы де ля Раме (род. в 1840 г.). Она изображала высшие слои общества в самых мрачных красках, бичуя корыстолюбие, продажность, честолюбие, тщеславие и грубый разврат, едва прикрытый внешними приличиями. «Синьа» – роман из жизни итальянских крестьян.

Герберт Спенсер (1820–1903) – английский позитивист и систематик эволюционной теории как законченной философской

Ведь маленький итальянец Синьа, достигший такой славы, был простым крестьянским мальчиком, таким же, как он, Джонни Лондон.

– Мой узкий горизонт раздвинулся, – рассказывал мне Джек, – все стало возможным, если я только дерзну.

Книга Уйда стала любимым предметом разговора между Элизой и Джеком. Конец у нее был оторван, и дети, перетирая тарелки или помогая отцу в огороде, придумывали каждый раз новое окончание.

Работы на ферме было много. Работали и мужчины и женщины. Маленький Джек, вернувшись из школы, сразу принимался за работу. Жизнь на ферме не нравилась ему. Он находил, что это «самое тупое существование», и каждый день мечтал о том, как бы «уйти за горизонт», «посмотреть на мир».

Когда Джеку минуло одиннадцать лет, дела пришли в окончательный упадок. Ферма была продана, и Джон Лондон с женой, Идой и Джеком перебрались в Окленд. Элиза за несколько месяцев до этого вышла замуж за ветерана гражданской войны, капитана Шепарда, вдовца старше ее на тридцать лет, отца многочисленной семьи. Обе семьи поселились в Окленде, недалеко друг от друга. Флора открыла меблированные комнаты для шотландских работниц с джутовых фабрик. Но и это не пошло, и семья перебралась в еще меньший и плохонький домик. Джон Лондон был изувечен в железнодорожной катастрофе и, оправившись, выхлопотал себе место полицейского, а Джек вынужден был продавать на

системы. Ф. Энгельс определяет учение Спенсера и Гексли как «стыдливый материализм», так как, материалистическое по тенденции, их учение не дает ясного и прямого ответа на главнейший вопрос философии о соотношении материи и духа. Спенсером написано много трудов в области метафизики, биологии, психологии, этики и социологии.

улице газеты. Может быть, это даже было и лучше для него, потому что по приезде в Окленд он узнал о существовании библиотек и читален и буквально дни и ночи просиживал за чтением. Он читал, пока не начинала кружиться голова и глаза не отказывались служить.

Теперь отец и сын вместе проводили ночи на улице. Это сблизило их и привело к настоящей дружбе. К этому времени относится первая и последняя порка, полученная Джеком от отца по настоянию матери. Джон долго противился требованиям жены, но потом, как всегда, уступил. Отец и сын долго обсуждали вопрос со всех сторон. Джек был более встревожен за отца, чем за себя. Оба сошлись на том, что лучше поскорее покончить с этим делом. За все двадцать лет, что Джон Лондон прожил с Флорой, во всех случаях, когда происходили недоразумения между матерью и сыном, или мачехой и падчерицами, он, по обыкновению, примиряюще говорил: «Надо уступить маме. Она не виновата, что смотрит на вещи иначе, чем мы, так же как и мы не виноваты, что смотрим не так, как она». Экзекуция была произведена, после чего отец и сын, отбросив стеснение, выплакались в объятиях друг друга.

Вот еще выдержка из того же письма двадцатилетнего Джека, относящаяся к этой эпохе его жизни:

«Мне было восемь лет, когда я надел первую рубашку, купленную в магазине. Долг! В десять лет я уже продавал на улицах газеты. Каждый цент я отдавал семье и, отправляясь в школу, каждый раз стыдился своей шапки, башмаков, платья. Я вставал в три часа утра, чтобы идти за газетами, а затем не домой, а в школу. После школы – вечерние газеты. По субботам я работал при фургонах, развозивших лед, по воскресеньям отправлялся на кегельбан и расставлял кегли для пьяных голландцев. Я отдавал каждый цент и ходил одетый, как чучело».

Джек Лондон на всю жизнь сохранил убеждение, что первое побуждение к писанию он получил от учительницы в

последнем классе начальной школы. Джек обладал чистым музыкальным голосом, а учительница отчаянно фальшивила. Джек решительно отказался принимать участие в таком пении и высказал свои резоны. Барышня, по природе неспособная сознаться в своих ошибках, долго спорила с упрямым учеником и наконец отправила его к начальнику. Начальник не наказал его, внимательно выслушал его доводы и отослал обратно в класс, предложив учительнице давать ему письменные работы во время музыкальных упражнений.

К этому же периоду относится его окончательный выбор имени Джек.

– Как ваше имя? – спросила учительница при вступлении его в школу.

– Джек Лондон.

– Вы хотите сказать – Джон Лондон, – возразила она.

– Нет, сударыня, – вежливо, но твердо заявил он, – мое имя Джек Лондон.

Последовал долгий спор, но, в конце концов, ему удалось отстоять свое новое имя.

Трудно сказать, когда он перешел от отрочества к юношеству. Пожалуй, придется согласиться с его словами, что у него никогда не было отрочества. Как всякий мальчик, он мечтал о приключениях, о море, о пиратах. Путем долгих лишений ему удалось приобрести собственную маленькую лодочку, на которой он проводил все свободное время. Это были для него единственные счастливые минуты. Но суровый долг держал его крепко. В 14 лет Джеку пришлось окончательно распроститься со свободой и поступить на постоянное место на консервный завод в Окленде. Здесь царила самая неприкрытая, самая бессовестная эксплуатация детского труда. Мальчики и девочки часами простаивали у опасных машин, не имея возможности отвести от них глаз, чтобы не быть изувеченными.

– Мы не могли отвлечься взглядом, мыслью от напряженного наблюдения за машиной, даже если кто-нибудь из нас бывал ранен, – рассказывал Джек. – Один взгляд в сторону, секундное отвлечение внимания от рук и – цап! – вы без пальца.

Джек уходил на работу рано утром, возвращался поздно вечером. Времени хватало только на еду, раздевание и одевание.

– Иногда я работал восемнадцать, двадцать часов подряд. Однажды я простоял за машиной тридцать шесть часов. Бывали целые недели, когда я не возвращался домой раньше одиннадцати, ложился в половине первого, а в пять меня уже будили: надо было одеться, поесть и в семь уже стать на работу… Я спрашиваю себя: неужели цель жизни в том, чтобы превратиться в рабочий скот? Я не знал ни одной лошади в Окленде, которая работала бы столько часов, сколько я.

Надо признать, что пока он был рабом, он был рабом безупречным. Он работал энергично и продуктивно. Но мысль его также работала не переставая. Когда ему удавалось вырваться к себе в лодку, он начинал размышлять о нелепости и разрушительности такого образа жизни. Он должен приносить домой деньги – об этом и вопрос не поднимался; но почему не зарабатывать свой хлеб другим, менее мучительным способом? Я снова привожу цитату из того же письма:

«…работал на консервном заводе во время летних каникул… чтобы заплатить за право учения… Я работал на этой фабрике не во время каникул, а круглый год… Заработок был ничтожный, но я работал столько часов, что выгонял иногда до пятидесяти долларов в месяц. Долг! Я отдавал каждый цент. Долг! Я работал в этом аду, простаивая у машины по тридцать шесть часов, а ведь я был ребенком. Я помню, как я пытался сберечь денег на покупку лодки – восемь долларов. Все лето я старался наскрести их.

В конце концов, отказавшись от всех удовольствий, я накопил пять долларов. Но матери понадобились деньги, она пришла на завод к машине, у которой я работал, и попросила у меня денег. В ту ночь я готов был покончить с собой… Долг! Если бы я следовал вашему понятию о долге, я никогда не попал бы в высшую школу, никогда не попал бы в университет… никогда. Я остался бы рабочим».

Во время своих скитаний на лодке Джек познакомился с Франком, французом, уже пожилым человеком, знаменитым «устричным пиратом». Франк продавал одномачтовое судно «Раззль Даззль» за триста долларов. Но где взять деньги? Джек вспомнил о мамми Дженни, о ее кошельке, всегда готовом раскрыться для «белого ребенка». Судно было куплено, и покупка отпразднована грандиозной попойкой. Джек, у которого было врожденное отвращение к алкоголю и который не мог понять, как люди тратят деньги на отвратительное пойло, когда на них можно купить столь желанные сласти, умудрялся не столько пить, сколько выплескивать вино за борт. Но он был «мужчиной среди мужчин», и это сознание делало его счастливым. «И я был счастлив, – писал он, – здесь, в этой атмосфере богемы, я остро ощущал контраст между вчерашним днем, когда я сидел у машины, повторяя серию механических движений, и сегодняшним, когда я сидел со стаканом в руке, в горячей дружбе с устричными пиратами, юристами, отказавшимися стать рабами рутины, смеявшимися над ограничениями и законами, державшими свою жизнь в собственных руках». Счастью Джека не было границ.

Он сделался устричным пиратом.

Следующий год был, по его собственному признанию, «годом отчаянного риска», когда он за неделю добывал больше денег, чем впоследствии, в первое время литературной деятельности, вырабатывал за целый год. Он жил полной жизнью, все время играя опасностью, рискуя свободой и

жизнью. Не было, кажется, такого преступления – исключая убийства и мошенничества, – в котором он не был бы повинен в возрасте от шестнадцати до двадцати лет. Он признавался впоследствии, что, если бы его судили по заслугам, он был бы приговорен *на много сотен лет.*

«Это была жизнь суровая, обнаженная, дикая, свободная – единственная жизнь в этом роде, которая была мне доступна по моему рождению и положению. Больше того, она заключала в себе обещание. Это было только начало… От отмелей через Золотые Ворота лежал путь к простору приключений во всем мире, где сражаются не за старую рубашку или украденное судно, но ради высоких целей».

К этому периоду относится и служба Джека в рыбачьем патруле.

Это было время постоянной опасности, порождаемой столкновениями с греческими, итальянскими и восточными рыбаками, борьбой с волнами, когда налетал северный ветер, или тем и другим вместе. Конечно, ему помогало его сильное сложение, счастье и здравый смысл.

12 января 1893 года он поступил матросом на трехмачтовую шхуну «Софи Сезерлэнд», отправлявшуюся к японским берегам и в Берингово море за котиковыми шкурами.

Глава вторая. Плавание на «Софи Сезерлэнд». Скитания (1893–1894)

Когда Джек вступал на палубу «Софи Сезерлэнд», ему казалось, что он оставляет за собой не только твердую землю, но и свой душевный гнет. Ему казалось, что тяжесть, давящая его плечи, превращается в крылья.

Пребывание в среде устричных пиратов и на службе в рыбачьем патруле заставило Джека произвести переоценку ценностей. Доллар, бывший в детстве и ранней юности целью, теперь превратился в средство. Смыслом его жизни стало уметь хорошо добывать серебро и золото и, хорошо добыв, тратить их на «игру», как он называл жизнь. С момента поступления на судно Джек отбросил всякую мысль о своих финансах. Определенное жалованье растет для него с каждым днем, на судне, к счастью, нет ни капли спиртного, следовательно, трезвость и экономия на несколько месяцев обеспечены.

На шхуне большинство экипажа состояло из шведов. Это были взрослые матросы, и Джек очень скоро понял, что ему нелегко будет установить с ними правильные отношения. Для них он был существом низшего порядка – мальчишкой, «пресноводным моряком». И они по традиции готовы были превратить его в мальчика для побегушек или во что-нибудь еще худшее. Ему надо было принять свои меры.

«Эти суровые скандинавские моряки прошли суровую школу. Мальчиками они прислуживали матросам: став матросами, они желали, чтобы им прислуживали мальчики. Я был мальчик… Я никогда не бывал в открытом море, несмотря на то, что был хорошим матросом и знал свое дело… Я подписал условие как равный и должен был держать себя как равный или обречь себя на восемь месяцев адских мучений. На это равенство они и сердились. По какому праву я

равен им? Я не заслужил этой высокой чести. Я не перенес тех мучений, которые перенесли они, когда были забитыми мальчиками, запуганными юнгами. Хуже того – я был пресноводный моряк, совершающий свое первое морское плаванье. И вот, по несправедливости судьбы, в корабельные регистры я вписан как равный…

Мой метод был продуман, прост и решителен. Прежде всего я решил, что, как бы сурова и опасна ни была моя работа, я буду исполнять ее так, чтобы ее не приходилось никому переделывать… Я выходил на вахту первым и уходил последним… Я делал больше, чем приходилось на мою долю».

Но больше всего помогли Джеку его явно выраженное отвращение к малейшему покровительству, любовь к независимости и готовность в любую минуту постоять за себя. «Я производил впечатление дикой кошки, всегда готовой к бою».

Биографы Лондона писали о том, что его плаванье на «Софи Сезерлэнд» было сплошным адом. Это неверно. Джеку пришлось выдержать решительный бой с громадным рыжим шведом, не дававшим ему прохода. Бой кончился полной победой Джека, и остальная часть плаванья протекла спокойно. С рыжим Джоном они стали приятелями. Вся команда привязалась к Джеку и даже прощала ему любовь к книгам, рассматривая его ночные чтения как смешную, но невинную манию.

На каждой стоянке матросы заходили в первый попавшийся кабак выпить по рюмочке и застревали там до того момента, когда надо было возвращаться на судно.

Они побывали на Бонинских островах[4], причем стоянка ознаменовалась пьяным скандалом; затем отправились к

[4] Группа из 89 маленьких островов вулканического происхождения в Великом океане, к юго-востоку от Японии.

северу и в течение двенадцати недель, почти не видя солнца, занимались охотой на котиков. Закончив охоту, «Софи Сезерлэнд» направилась в Японию, где весь свой отпуск Джек опять провел в беспрерывном пьянстве. Из Японии они отплыли домой. На обратном пути вся команда, в том числе и Джек, клялась и божилась, что теперь уже никто не выпьет ни единой капли, что все до копейки будет доставлено домой. Но при расставании добрые намерения были забыты, и прямо с корабля вся команда устремилась в кабак праздновать возвращение.

Вспоминая о своем плавании на «Софи Сезерлэнд», Джек писал все в том же письме о «долге»:

«…но разве мне удалось совсем освободиться от долга? Не одна золотая монета пошла в семью, когда я вернулся из семимесячного плаванья. Что я сделал себе на свой заработок? Купил второсортную шляпу, несколько рубашек по сорок центов, две пары нижнего белья по пятьдесят да второсортный пиджак и жилет. Остальное ушло на долги отца и в семью».

Долг держал его крепко. Снова для Джека настали тяжелые времена. Мать убедила его, что он достаточно поскитался по свету, пора мечтаний и безумств миновала, надо найти заработок и вести оседлый образ жизни. Джек должен был приняться за работу, приняться немедленно, потому что родители нуждались. И вот оказалось, что Джек, с его широкими плечами и стальными мускулами, развивавшимися в борьбе с морем, Джек, сильный, выносливый Джек, видевший свет, не может найти ничего лучшего, как те же десять центов в час при тех же десяти часах работы в день.

Это было тяжелое открытие. Но делать было нечего, и Джек, который мог бы, подобно киплинговскому бродяге, воскликнуть: «Я был тем, чем я был!» – Джек сделался простым рабочим на джутовой фабрике. Он был хорошим ра-

бочим. Он вложил всю свою гордость в то, чтобы быть хорошим рабочим. В то время он был, по его собственному признанию, «…опутан ортодоксальной буржуазной моралью, читал буржуазные газеты, слушал буржуазных проповедников, рукоплескал звонким пошлостям буржуазных политиков».

Он снова усиленно начал посещать публичные библиотеки. Но теперь у него уже не было прежнего мальчишеского энтузиазма. Ведь он сам участвовал в таких увлекательных и романических приключениях, сам мог бы многое порассказать.

Этот период в его жизни между возвращением из плаванья и следующим уходом из Окленда знаменателен главным образом первым опытом литературного творчества.

Мать Джека первая обратила внимание на объявленную в газете премию за лучший очерк. Джек, работавший по тринадцати часов в сутки, не сразу решился попытать счастья. «Когда писать? О чем писать?» – недоумевал он. – «Напиши о чем-нибудь, что ты видел в Японии или на море», – посоветовала мать. Джек улыбнулся, присел за кухонный стол и одним махом написал половину очерка – что-то около двух тысяч слов. На следующий вечер он написал еще две тысячи, а на третий сократил написанное вдвое, то есть втиснул его в размеры, обусловленные конкурсом. Это первое произведение Джека, озаглавленное «Тайфун на берегах Японии», к великому удивлению автора, получило первый приз – двадцать пять долларов. Вторую и третью премию получили студенты Стенфордского и Калифорнийского университетов.

Домашние были в восторге, а Джек, вспомнив мечты тех дней, когда он зачитывался «Синьа», прельщенный легким заработком, решил снова приняться за увлекательную и доходную работу. Но следующие рукописи, посланные в редакцию, были возвращены, и Джеку пришлось пока что

удовлетвориться работой на фабрике. На полученную премию он купил себе костюм за десять долларов и выкупил часы. Но через два дня, когда не на что было купить табаку, часы снова отправились в заклад.

В это время он подружился с кузнечным подмастерьем, оклендским сердцеедом Луисом Шаттоком. Каждый вечер они вместе гуляли по улицам, где парочками разгуливали молодые девушки. И Джек, похитивший когда-то королеву устричных пиратов, знавший в Японии не одну мадам Хризантем, с несвойственной ему робостью и завистью глядел, как ловко и грациозно Луис приподнимал свою шляпу, как свободно и развязно подходил к барышням и знакомился с ними. Правда, Луис, как хороший товарищ, уступал часть барышень Джеку, но это уже был, так сказать, второй сорт. Однажды, случайно попав на собрание Армии Спасения, Джек влюбился в свою соседку, шестнадцатилетнюю шатенку со вздернутым носиком. Он мысленно окрестил ее Хеди, и так никогда и не узнал ее настоящего имени. Они познакомились при помощи Луиса, но встречались не больше двенадцати раз, и обменялись всего лишь несколькими робкими поцелуями. Все же это была настоящая горячая и чистая первая любовь. «Я верю, что она меня любила. Я знаю, что я любил ее. Я мечтал о ней целый год, и память о ней мне очень дорога», – говорил Джек, вспоминая о Хеди.

Но вот настала зима. Джеку и Луису, у которых не было пальто, пришлось отказаться от прогулок. Где встречаться? Джек сделал было попытку примкнуть к Союзу Христианской Молодежи, но ему, «познавшему таинственные и жестокие вещи», пришедшему с «другой стороны жизни», молодые люди Союза казались необычайно убогими по своему духовному и физическому развитию. Он чувствовал себя чужим среди них и не умел к ним приспособляться. Оставались трактиры. И вот детям, обожавшим сладости, прихо-

дилось тратить последние гроши и с отвращением глотать спиртные напитки для того, чтобы иметь право посидеть в теплой комнате и поиграть в карты. Но даже и на это часто не хватало денег.

Заработок был скудный. Обещанной прибавки Джеку не дали, и он стал подумывать, чтобы изучить какое-нибудь ремесло. В конце концов он решил стать электротехником и с этой целью отправился на электрическую станцию оклендского трамвая. Директор принял его очень ласково, выслушал его планы и предложил ему начать учение с самого начала, то есть поступить в кочегарку. Джек, не подозревавший о том, что в это самое утро два кочегара отказались от тяжелой и дурно оплачиваемой работы, согласился и стал один за тридцать долларов в месяц исполнять работу, от которой отказались двое взрослых мужчин, получавших по восьмидесяти долларов. Он возвращался домой настолько разбитый, что кондуктору и пассажирам в трамвае приходилось будить его и помогать ему сойти на остановке. Дома у него едва хватало сил поужинать. Он засыпал тут же за столом, и отец с матерью раздевали его и укладывали в постель. Когда Джек узнал о том, что он лишил работы двух человек и сбивает цену на труд, он решил уйти. Но гордость не позволяла ему уйти, не убедившись, что он в состоянии справиться с работой. Только после этого он бросил кочегарку, вернулся домой и проспал без просыпу двадцать четыре часа.

Работа опротивела ему. Он не мог без отвращения думать о ней. Довольно! Пора подумать и о себе. Его не удерживала даже мысль о долге. Он чувствовал, что погибает.

Неизвестно, как повернулась бы жизнь Джека, если бы в этот критический момент он случайно не узнал о том, что в городе формируется рабочая армия генерала Келли. Это было незадолго до пасхи 1894 года. Сначала Джека отпугнуло было слово «рабочая», но убедившись, что армия

составляется из оборванцев, безработных и непокорных, вроде него самого, он решил примкнуть к ней.

Когда он пустился в путь, с него снова, как при отплытии на «Софи Сэзерлэнд», спала давившая его тяжесть. Он снова мог завоевывать жизнь, беззаботно и радостно скитаться по земле.

Но ему пришлось многому научиться в новой среде. Его прежнее знакомство с пиратами и матросами помогло ему лишь отчасти. Бродяги были людьми иного склада. Это были существа, принадлежавшие – от рождения или вследствие жизненных злоключений – к низшим слоям человеческого общества. Это были люди, органически неприспособленные к работе, умевшие лишь воровать и просить милостыню. Джеку, с его врожденным чувством гордости и независимости, вначале трудно было просить у дверей, но он быстро сумел придать этому вид спорта и применить к этому свой артистический талант.

– Это была мена, – рассказывал Джек о мягкосердечных женщинах, кормивших его на кухне и слушавших рассказы о его фантастических приключениях. – За их бесчисленные чашки кофе, бутерброды и яйца я платил полной ценой. Я развлекал их по-царски. То, что я сидел за их столом, было для них приключением, а приключение выше всякой цены.

Его талант помогал ему при столкновениях с ворчливыми кухарками, сердитыми полицейскими, грубыми железнодорожными служащими.

Впоследствии издатели и редакторы удивлялись, как могли они подписать тот или иной контракт, в который Джек включил свои условия. Он отвечал: «Это спектакль. Выигрывает лучший актер».

Ему пришлось узнать и голод и холод, но это не огорчало его: ведь это входило в игру. Ни холодные утренники, ни боль в мускулах, ни пустой желудок и тяжелая голова после ночи,

проведенной под вагоном, не могли помешать ему наслаждаться наступающим днем, потому что «каждый день – особый день», со своими особыми приключениями.

Джек научился ездить и под вагонами, и на вагонах, соскакивать и вскакивать на ходу, спасаясь от кондукторов, научился даже засыпать, вися на тормозе или на буфере, с риском каждую минуту сорваться и попасть под колеса. Но и это входило в игру.

Армия Келли шла пешком. У Джека развалились башмаки, ноги были покрыты пузырями. Они переходили из города в город, встречая самый различный прием. Но и это была игра.

В конце концов армия распалась, и Джек стал бродяжничать один или со случайными попутчиками. В тот год он, по его подсчету, сделал около десяти тысяч миль. Он побывал в Сакраменто, в Квинси, в Сен-Луи, в Каиро, в Луисвилле и Вашингтоне, Балтиморе и Пенсильвании, в Нью-Йорке, Бостоне, Канаде, побывал на Ниагаре[5].

Несколько лет тому назад, разбирая старые книги, Джек наткнулся на маленькую записную книжку. Это были заметки, которые он вел за год скитаний. Тут были адреса друзей, имена разных барышень, всякие Лиззи, Долли, Бетти, рассуждения о деизме и теизме, размышления по поводу того, «что появилось раньше: курица или яйцо», переписанные стихи и романсы. Некоторые цитаты и наблюдения свидетельствуют о пробуждающемся интересе к политике и экономике. А затем имеется следующая запись, которую я привожу дословно:

---

[5] Пенсильвания – штат С. А. на берегу Атлант, океана. Канада – Британская колония в Северной Америке. Ниагара – водопад и город того же названия. Остальные – города (Каиро – город Сев. Ам. штата Иллинойс, при впадении Огайо в Миссисипи).

«В Вашингтоне во вторник, 9 августа 1894 года, меня охватило великое, страстное желание отцовства. Желание детей – не чувственная потребность наслаждения, сопровождающего отцовство, но чисто духовное желание иметь на свете кого-нибудь, кто бы нуждался во мне, зависел от меня, доверял мне и был бы мне родным, как я своим родителям. Конечно, я понимаю, что это довольно глупые мысли для восемнадцатилетнего малого. Это пришло после того, как я поговорил с одним бродягой, глядя на его безнадежное одинокое положение, а также глядя на людей вообще. Я всегда говорил, что не женюсь раньше двадцати шести – двадцати семи лет, и до сих пор думаю, что это правильно. Но за это время я буду наблюдать и постараюсь воспользоваться опытом других в лотерее брака».

Этот период бродяжничества подробно описан в книге Джека Лондона «Дорога». Скитания закончились тюремным заключением[6].

Джек в обществе другого трампа, бывшего юриста, отправился посмотреть на Ниагару. Водопад произвел на него колоссальное впечатление. «Как только мои глаза наполнились зрелищем падающей воды, я был потерян». Он не мог оторваться от водопада и провел около него весь день и весь вечер. Только около полуночи вспомнил он, что пора поискать пристанище. Блуждая по опустевшим улицам города, он налетел на своего приятеля, которого вели в участок, и был захвачен вместе с ним. Оба были приговорены к тридцати дням тюремного заключения за бродяжничество.

Джек, прошедший уже суровую школу жизни, все же был потрясен несправедливостью и жестокостью приговора. Ему было отказано в праве пригласить защитника, его даже не выслушали. Протесты ни к чему не привели. Пришлось смириться. Его здравый смысл, восприимчивый ум, наблю-

[6] Этот эпизод послужил темой для рассказов «Сцапали» и «Исправилка».

дательные глаза, схватывающие и запоминающие малейшие детали, помогли ему превратить этот месяц мучений в месяц могучего духовного роста. Выйдя из тюрьмы, осунувшийся, с обритой головой, он незаметно прокрался на вокзал и залез под вагон первого отходящего поезда.

Его железное здоровье скоро помогло ему оправиться, освободиться от неприятных воспоминаний и вернуться к радости жизни. Все же тюремное заключение оставило на нем неизгладимый след.

«Я бы не поверил тому, что видел в тюрьме, если бы не увидел этого сам. А ведь я не был неопытным мальчиком, я знал земные пути и ужасные бездны человеческого унижения».

Когда Джек вернулся домой через Золотые Ворота запада, в его глазах было новое выражение – серьезности, решимости, силы. Он обдумал все раз и навсегда. До сих пор он гордился своими прекрасными мускулами, силой и гибкостью своего тела. Но что это дало ему? К чему это его привело? Каждая его попытка пробиться приводила к эксплуатации, нищенскому жалованью, переутомлению. Он чувствовал горячую любовь к жизни и испытывал ужас при мысли о том, что будет, когда он станет старше, потеряет гибкость, силу, «не сможет работать плечом к плечу с сильными». Благородство ручного труда, столь восхваляемое учителями, проповедниками и политиками, исчезло для него. Он узнал закулисную сторону общественной жизни, узнал, что человек без ремесла беспомощен, а человек, знающий ремесло, непременно должен принадлежать к рабочему союзу, отстаивающему его права перед нанимателем. Отныне физическая работа не должна была больше существовать для него. Он будет работать, но не мускулами, а мозгом. Его опыт привел его к определенному и окончательному решению: впредь он будет продавать свой мозг и только мозг.

Глава третья. Высшая школа. Университет (1894–1897)

Здоровье Джона Лондона значительно улучшилось, заработка хватало на семью, и Джек, вернувшись из своих скитаний, смог поступить в Высшую школу. Он с жадностью принялся за учение; по его собственному выражению, он стал «править несколькими конями зараз». Он занимался и учением, и своим литературным образованием, и социализмом, работал для заработка, и т. д., и т. д.

Несмотря на свои не совсем обычные взгляды на труд и капитал, он все же был убежден, что его успех должен быть основан на классическом образовании.

Нет такого человека, женщины или мужчины, который мог бы теперь, после смерти Джека, выйти и сказать: «Это я уговорил Джека поступить в школу, это я подал ему мысль, это я создал Джека Лондона»… Джек сам «себя создал». Всем, чего он достиг в жизни, он был обязан исключительно себе.

В течение долгих месяцев, постепенно, непрерывно, он отбрасывал одну условность за другой, и только «образование» продолжал считать необходимым. Прежде чем совершать великие дела, надо закончить учение. Все учение – от начальной школы до университета.

Мать отвела ему большую комнату и по его просьбе поставила ему широкую, удобную кровать. «Я буду проводить в ней большую часть времени, чтобы мне было тепло во время занятий», – решил Джек. Хорошие постели были коньком Флоры Лондон. «У меня всегда хорошие кровати в доме, даже когда ничего другого нет», – говорила она. Джек получил желанную кровать. В остальном комната была обставлена очень просто, но удобно, и Джек сам поддерживал в ней порядок. Когда на мать нападала «мания чистоты», Джек, взбешенный, носился по дому и бушевал, что у него все пе-

репутано. В таких случаях мать дипломатически отвечала: «Это, наверно, Элиза», потому что Джек никогда не осмеливался вступать в пререкания с Элизой. «Я не решался кричать на нее, потому что знал, что она наорет на меня вдвое», – признавался он.

В этой комнате, синей от табачного дыма, он просиживал дни и ночи над книгами, готовясь к экзаменам. Курил он всегда очень много. Во время бродяжничества по большим дорогам он приобрел, кроме того, привычку жевать табак, возмущавшую Элизу. Джек оправдывался тем, что он жует табак от зубной боли. И в доказательство показывал разрушенные передние зубы. В конце концов брат и сестра пришли к соглашению: жевательный табак был изгнан из употребления, и девятнадцатилетний Джек приобрел свою первую зубную щетку и первые вставные зубы. Эти вставные зубы доставляли ему много неприятностей, так как обладали способностью выпадать в самый неподходящий момент.

В это время Джек уже совершенно определенно начал заниматься пропагандой в пользу прежней Социалистической рабочей партии. Он совсем недавно обнаружил, что то, чем он стал, называется «социалист». И хотя он знал, что слово «социалист» неприятно ушам людей, любящих буржуазный уклад и порядок, он, прирожденный мятежник против всего, кроме справедливости, всецело подписался под лозунгом: «Удовлетворение существующим порядком вещей – проклятие». «Социализм – только новая экономическая и политическая система, при которой большое количество людей получает пищу. Коротко говоря, социализм – это усовершенствованное добывание пищи». Таковы были взгляды, к которым пришел Джек. И эти взгляды он защищал везде и повсюду. Он был по-прежнему застенчив. Ни в то время, ни впоследствии он не любил выступать публично и выступал только, когда этого требовало святое дело пропаганды. Его красноречие, энергия, любовь к опасности

быстро привели его к аресту и к известности. Капиталистические газеты провозгласили его анархистом, красным, динамичным. Пусть! Все же он взмахнул священным, красным, как кровь, знаменем братства людей и готов был умереть за это знамя.

Многие молодые люди, члены литературного кружка, носившего название кружка Генри Клея, к которому принадлежал и Джек, заинтересовались «мальчиком-социалистом» и сблизились с ним. Джек стал бывать в культурных домах, познакомился с настоящими взрослыми «барышнями», которые не знакомились с молодыми людьми на улицах. Вся эта молодежь очень быстро подпала под обаяние его личности, его привлекательной внешности. Его прекрасная фигура и широкие плечи были видны, несмотря на уродовавшее его всегда изношенное и дурно сшитое платье. Впрочем, недавно я познакомилась с одной дамой, которая знала Джека в то время и запомнила его только благодаря его обтрепанному костюму.

Занят он был все время. Он состоял членом различных кружков, где толковали о поэзии, искусстве и «тонкостях грамматики», членом местного социалистического кружка, где изучали политическую экономию, философию и политику, занимался в школе, писал письма в оклендские газеты.

Несмотря на то что у него не оставалось почти ни одной свободной минуты, ему пришлось для заработка принять место привратника при школе. Кроме того, он подрабатывал случайно работой вроде косьбы садовых лужаек или выбивания ковров.

Среди барышень, посещавших литературный кружок Генри Клея, была маленькая блондинка с голубыми глазами по имени Лили Мейд. Джеку она казалась воплощением хрупкости, утонченности, одухотворенности. Она, ее семья, окружавшая ее обстановка соответствовали его идеалу культурной, утонченной жизни. В их доме Джек познакомился не только с элементарными правилами этикета, но познал выс-

шее наслаждение искусством и поэзией и премудрость шахматной игры. В этот период его жизни алкоголь не существовал для него: не было ни времени, ни желания.

Но к концу года Джек подвел итоги. До окончания Высшей школы оставалось еще два года. Между тем он изнемогал под бременем непосильной работы. Надо было искать выхода. На помощь, как и всегда в затруднительных случаях, пришла сестра Элиза. Она дала Джеку возможность поступить в одну из школ, где в четыре месяца можно было подготовиться к поступлению в университет. Иными словами, Джеку предстояло в четыре месяца пройти двухлетний курс учения.

Он работал дни и ночи в продолжение пяти недель. А потом с ясного неба грянул гром. Рвение Джека и его успехи вызвали недовольство. Если бы он прошел в двенадцать недель двухлетний курс, это могло бы произвести скандал. И так уже в университете недолюбливали учеников подготовительных школ. Все это было высказано директором в самой любезной форме. Джек был совершенно убит. Но он был не из тех, кто отступает. Деньги были возвращены Элизе, и Джек, запершись в своей берлоге, без помощи, без руководства засел за зубрежку. В продолжение двенадцати недель он работал по девятнадцати часов в сутки. Вспоминая эту бешеную зубрежку, Джек признавался, что он «немного спятил». Ему стало казаться, что он нашел квадратуру круга. К счастью, он решил не опубликовывать своего открытия до окончания экзаменов. Когда экзамены были сданы, Джек был до того переутомлен, что не мог выносить вида книг. «Я не мог думать… не мог видеть людей, способных думать». Он даже не дождался результатов экзаменов. Впервые за восемнадцать недель перед его усталым взором предстала мечта об «ослепительном приключении». Он сам прописал себе лечение: взял у знакомого парусную лодку, бросил в нее сверток с

одеялами, подушку, запас провизии, поднял парус и вышел в море. Когда белый парус затрепетал под утренним ветром, Джек сразу почувствовал облегчение. Он проплавал целую неделю, навестил своих старых товарищей по рыбному патрулю и вернулся освеженный, отдохнувший, готовый снова приняться за работу. Конечно, встреча с друзьями ознаменовалась грандиозной попойкой: по признанию Джека, он впервые в жизни ощутил тогда потребность в алкоголе, желание найти забвение и отдых в вине.

В университете Джек с жадностью накинулся на учение. Его мозг всасывал знания, как вечно сухая губка. Ничто не удовлетворяло его: он читал без устали, но новые книги только разжигали в нем жажду к другим книгам, к книгам без конца.

Один из друзей его детства, встретившийся с ним в университете, описывал его, как «странное сочетание скандинавского моряка и греческого бога… Он был полон гигантских планов, впрочем, когда бы в жизни я с ним ни встретился, он всегда был полон планов. Он желал слушать все лекции по английскому языку, все, никак не меньше. Он желал также слушать большинство лекций по естественным наукам, по истории, по философии…»

– Я учусь скорее, чем они успевают учить меня, – сказал он однажды устами одного из своих автобиографических персонажей.

И я не раз слышала, как он серьезно утверждал, что методы и содержание университетской науки принесли ему мало пользы. Он твердо верил, что мог бы обойтись без этих месяцев университетского учения. Впоследствии он никогда не пытался убеждать других, но про себя держался того мнения, что преуспел «несмотря на это, а не благодаря этому». Превыше всего он всегда ставил опыт, этого учителя учителей.

– Как смеете вы надеяться написать что-нибудь живое, если вы знаете о жизни только немногое или вовсе ничего не знаете о ней? – говорил он молодым людям, приходившим к нему узнать, какой талисман помог ему достичь славы. – У вас в голове нет ничего, о чем вы могли бы писать. Ступайте, учитесь сами, как учился я. Хорошему слогу может научиться каждый, у кого есть воображение. Вам нужны настоящие живые вещи, которые вы могли бы изобразить. Правда, они не всегда приятны и красивы. Но что касается меня, я никогда не раздумывал, о чем бы мне написать.

Когда ему исполнилось двадцать два года и он перешел на второй курс, он снова пересмотрел свой духовный капитал, свои обязательства и подвел итоги. Университет не оправдал его ожиданий. Денег не было, как всегда. И Джек решил уйти. Университет был оставлен, и Джек засел за писанье. Он писал все: тяжеловесные статьи, социалистические и научные очерки, юмористические стихи.

В период этого лихорадочного писания он умер для внешних интересов. Он писал не менее пятнадцати часов в сутки, причем днем писал карандашом и пером, а по ночам сражался с ужаснейшей пишущей машинкой, печатавшей только одними заглавными буквами. Бесчисленные рукописи отправлялись к издателям, но та поспешность, с которой редакторы пускали в ход марки, приложенные для ответа, несколько охладила Джека. Ни одна строчка из всего написанного в эти дни не вызвала со стороны издателей ни одного одобрительного слова.

Единственным лучом света в этой беспросветной мгле была глубокая, непоколебимая вера отца в талант Джека.

– Не огорчайся, мать, – утешал он жену. – Джек пробьется, я тебе говорю. Он создан для успеха, и ничто не сможет помешать этому успеху, ничто на свете.

Джек принялся за пересмотр всех отвергнутых писаний. Он рассматривал их и с точки зрения внешности – они были

напечатаны одними заглавными буквами и выглядели ужасно – и критически, с точки зрения риторики и конструкции и, наконец, самое главное, с точки зрения мысли и выбора сюжета. Он вспомнил о двадцати пяти долларах, полученных за первый рассказ; но тогда он писал о том, что видел собственными глазами, а теперь пытался писать научные вещи, не имея достаточной подготовки. Джек был скромен и честен; он не мог не почувствовать стыда за то, что осмелился предложить такой любительский материал искушенным и опытным людям, сидящим в редакциях журналов. Но, с другой стороны, ничто не могло поколебать его в вере в себя: он знал, что его произведения и его мысли имеют цену. Пусть успех откладывается на неопределенное время, он будет учиться, будет работать.

Между тем здоровье отца опять ухудшилось, мать все время прихварывала, и Джеку, несмотря на его решение не заниматься больше физическим трудом, пришлось поступить в паровую прачечную при военной школе, находившуюся за городом. Там он стирал, гладил, крахмалил – все за тридцать долларов в месяц. Работал упорно, надеясь накопить денег на ученье. Работа была трудная; а с наступлением лета она стала еще труднее, так как ученики школы стали носить белые костюмы. Но самым тяжелым была утюжка кружевного белья профессорских жен. Джек получил навеки отвращение к утюгу. «Сохрани меня Бог, чтобы я еще когда-нибудь в жизни, при каких бы то ни было обстоятельствах, дотронулся до утюга», – говорил он. Единственным утешением была месть. Джек и его приятель, работавший в той же прачечной, мстили «существам, пользующимся незаслуженной роскошью», тем, что перекрахмаливали дамское белье до того, что оно не сгибалось. Самое комическое было то, что условная скромность профессорских дам мешала им жаловаться.

Времени для чтения не оставалось совершенно, и хотя Джек привез с собой полную корзину книг, к вечеру он уставал так, что глаза его смыкались сами собой. Пришлось отказаться от более трудных предметов, вроде политической экономии, биологии и права, но скоро Джек с грустью убедился, что он так же быстро засыпает и над самыми увлекательными романами приключений. Но он не унывал. Его время еще придет. Препятствия делали его еще более ярым социалистом. Теперь он решительно отказался даже от мечтаний о приключениях. Надо было заработать денег, чтобы снова приняться за писание и научиться писать так, чтобы завоевать издателей.

Глава четвертая. Клондайк (1897–1899)

В 1897 году началась общая тяга в Клондайк[7] за золотом. Джек Лондон, конечно, не мог устоять перед призывом Приключения. Но для поездки нужны были деньги. Снова на его пути преградою стала бедность. Он не решался обратиться за помощью к сестре. Она и так много помогала ему в последнее время. И все же помощь, как всегда, пришла именно от нее, хотя и в неожиданной для Джека форме. Муж Элизы, капитан Шепард, неожиданно был охвачен общей золотой горячкой и заявил, что если Джек желает вложить в дело свою молодость и опыт, то он даст остальное. Джек отнесся к этому предложению без особого энтузиазма. Перспектива тащить за собой слабого старого человека ему никак не улыбалась, но ведь это была единственная возможность попасть в Клондайк, и он согласился.

Капитан Шепард и Элиза собрали все свои сбережения, заложили дом и произвели необходимые закупки. Не то чтобы Элиза поощряла предприятие, но «раз уж они собираются разыгрывать идиотов, так пусть у них будет все для этого необходимое», – заявила она. Деньги текли как вода. Были куплены меховые куртки, меховые шапки, высокие сапоги, ярко-красное фланелевое белье – это белье имело впоследствии бешеный успех у индейцев, особенно у индейских женщин. Кроме того, надо было взять с собой одеяла, палатки, материалы для постройки саней, собачью упряжь, орудия

---

[7] Золотые россыпи на берегу реки Клондайк были открыты в 1896 г. Тогда же, на правом берегу реки Юкон, был основан город Доусон-Сити. В 1898 г. Доусон имел уже 10 000 жителей, а к 1900 г., когда золотая горячка начала остывать, число жителей сократилось более чем наполовину. Р. Юкон, проходя через Аляску, в своем северном изгибе находится на широте полярного круга.

для промывки песка и копания, запас еды на год, клондайкскую печурку, а также всю необходимую для жизни утварь. Снаряжение одного только Джека весило около двух тысяч фунтов.

25 июля 1897 года Джек Лондон и капитан Шепард отплыли на корабле «Уматилла». Джек был бы совершенно счастлив, если бы не тревога за здоровье отца. Джон Лондон уже несколько недель не вставал с кровати. Им так и не пришлось свидеться. Джон Лондон скончался 15 октября того же года, но Джек узнал об этом лишь весной 1898 года, когда на Севере открылась навигация.

2 августа путешественники прибыли к индейской деревушке Дайз. Отсюда им предстояло сделать переход через Чилкутский перевал. К тому времени они познакомились с тремя другими золотоискателями и вошли с ними в компанию. На берегу царил полный хаос. Здесь собрались толпы золотоискателей, которые искали носильщиков-индейцев для своего багажа. Пользуясь моментом, индейцы запрашивали бешеные деньги. У Джека и его спутников денег на носильщиков не было. Джеку пришлось тащить весь багаж самому, так как капитан Шепард был скорее помехой, чем помощником. Нельзя было терять ни одной минуты, если они не хотели застрять здесь на всю зиму.

К великому счастью для Джека, его шурин скоро отказался от непосильного для него путешествия. Они расстались друзьями, и капитан Шепард повернул обратно. Джек утверждает, что этот день был одним из счастливейших дней его жизни. Несмотря на смертельную усталость, он не только не отставал от других, но даже опередил некоторых индейцев. Последний переход до озера Линдерман был в три мили. Джек проходил эти три мили по четыре раза в день, причем каждый раз переносил по полтораста фунтов багажа. Затем он и его компаньоны построили две лодки: «Красавицу из

Юкона» и «Юконскую красавицу» и пустились вплавь. Чтобы сберечь время, они отваживались переплывать такие опасные места, как пороги Белой Лошади, через которые уже много лет никто не рисковал переправляться, так как самые крепкие и легкие лодки разбивались там в щепки. На этих порогах Джек и его товарищи чуть не погибли. На берегу они были встречены восторженными приветствиями менее отважных золотоискателей.

9 октября путешествие было окончено. Так как наши смельчаки прибыли к цели одними из первых, им удалось захватить пустую хижину в восьмидесяти милях от Доусона, оставленную торговцами мехом с Берингова моря. 12 числа они отправились подать заявки.

Город Доусон, столица авантюристов всего мира, золотоискатели, жизнь среди снегов – все это описано Джеком Лондоном не раз. И если путешествие в Клондайк не принесло ему золота в прямом смысле, все же оно явилось источником той золотой волны, которая хлынула к нему несколько лет спустя.

Скоро между Джеком и его компаньонами начались разногласия. Все дело было в чрезвычайно развитом у Джека чувстве гостеприимства. Он не мог не пригласить к своему обеду, к своей раскаленной докрасна печке каждого случайного гостя. Почти никогда они не садились за стол без двух-трех посетителей. Товарищи с огорчением и злобой смотрели, как таяли драгоценные припасы. В конце концов произошла настоящая ссора, и Джек перешел в хижину к доктору Гарвею, с которым дружно прожил до конца.

Кроме доктора, он сошелся еще с одним человеком, которого искренне полюбил и которым не переставал никогда восхищаться.

– Эмиль Дженсен, – говорил Джек, – один из редких на свете людей, к которому может быть применено слово «благородный».

Эмиль Дженсен изображен отчасти в одном из любимейших персонажей клондайкских рассказов Джека – в Мелмуде Киде. В Клондайке же Джек познакомился с собакой Буком – прообразом собаки из «Зова предков». Кроме того, Джек, обладавший даром создавать себе друзей, сблизился со многими золотоискателями – в большинстве своем безбородыми юнцами. Иллюстраторы почему-то любят изображать золотоискателей солидными людьми – «с такими бакенбардами, что волос в них хватило бы на добрый хомут», по выражению одного из клондайкских ветеранов. Поэтому публика не представляет себе, что в Клондайке могло быть место только молодым людям. К тому же всякая растительность на лице, замерзающая при дыхании, представляла такое неудобство, что в багаже каждого золотоискателя непременно была бритва.

Неизвестно, как долго Джек мог бы пробыть в Клондайке и сколько бы он добыл золота, если бы был снабжен свежей пищей. Но ни свежей пищи, ни овощей у него не было, и цинга до такой степени изнурила его, что он должен был уехать, как только тронулся лед.

В мае Джек и доктор Гарвей разобрали хижину, построили из бревен плот и сплавили его по Юкону до Доусона. Там они за несколько сот долларов продали его на лесопильню и во все время пребывания в Доусоне зарабатывали по пятнадцати долларов в день тем, что ловили бревна на Юконе и продавали их туда же. В то время сырая картошка или лимон были для них желаннее клондайкской золотой пыли. Я помню, с каким чувством Джек говорил о немедленном облегчении, которое доставляла ему половина сырой картофелины, что же касается лимона, то при воспоминании о нем у него не хватало слов. Но цинга не проходила, и Джеку становилось все хуже и хуже. В начале июля он простился с доктором Гарвеем и товарищами и без денег, больной отправился на лодке вниз по реке домой.

По возвращении Джеку снова пришлось подумать о заработке. Со смертью отца на его ответственности остались мать и маленький племянник, сын младшей сестры Иды, которая разошлась с мужем. После отца остались долги, бывшие для Джека долгами чести. Сумма их, в сущности, была невелика, но ее надо было достать. Джек должен был немедленно приняться за какую-нибудь работу. Но времена были тяжелые, и работу достать было нелегко. У Джека были две специальности – морское дело и ремесло прачечника. О первом нечего было и думать: нельзя было оставить семью, а прачечные были переполнены.

Джек записался в несколько контор по найму, поместил в газетах целый ряд объявлений, заложил велосипед, часы, резиновое пальто – единственное наследство отца. Работы все не было. Он пытался стать натурщиком – все места были заняты, грузчиком – но не состоял в рабочем союзе. Пришлось удовлетвориться случайными заработками. В это время он снова взялся за писание. Писал более кратко, более сжато. Он писал настоящие живые вещи, писал о том, что испытали его тело, его душа, его ум. Но сам он мало верил в драматическую силу своего пера – ведь то, что он писал, так мало походило на общепринятую манеру. Ему казалось, что он на ложном пути. Он не понимал, что в его произведениях чувствовалась свежесть, давно отсутствовавшая у писателей Европы. Он был художником Запада – свежим, далеким от повседневности. Он обладал чрезвычайно сильной наблюдательностью. Он умел видеть мир и умел показать виденное читателю. Но он был одинок. Даже Лили Мейд, не понимая всей своей жестокости, отказывала ему в поддержке в эти тяжелые дни. Видя его бледным, с провалившимися от недоедания и недосыпания глазами, видя его постоянные материальные неудачи, она старалась всеми силами повлиять на него, чтобы он взял какое-нибудь постоянное место, хотя бы место груз-

чика. Джек смутно ощущал какое-то разочарование в ней, но хотя духовно он все дальше и дальше отходил от ее маленького, узенького мирка, все же у него еще была к ней какая-то нежность: эта девушка была такая хрупкая, красивая, у нее были голубые глаза, длинные золотые волосы, как у леди Годивы. Эти волосы закрывали ее как плащ, когда она распускала их по плечам.

В конце концов маленький, сам по себе ничтожный инцидент положил конец его восторженному преклонению.

Самолюбие Лили страдало от того, что партию в шахматы Джек иногда предпочитал ее обществу. И вот однажды, когда Джек и брат Лили погрузились в экстаз вычислений и Джек всей душой был прикован к доске, белокурый, стройный ангел в припадке злобы смахнул своими ручками все фигуры на пол.

– Что же ты сделал? – спросила я, когда Джек много лет спустя рассказывал мне эту историю.

– Ничего. Что можно было сделать? Я почувствовал, как вся моя кровь отхлынула от лица. Судя по выражению лица ее брата, мое лицо, должно быть, было ужасно. Это было непростительно, понимаешь? Для меня это было грубым, безумным оскорблением благопристойности честной человеческой игры. Это было преступление против святого духа. Грешно было уничтожать полуразрушенную проблему из мелкой ревности к неодушевленному сопернику.

Вот несколько писем, написанных Джеком к Лили.

«27 ноября 1898 года.

…Простите, что я не писал. Я чувствую себя очень несчастным, полубольным. Я так нервничаю, что сегодня утром едва мог побриться…

Все идет не так, как надо; я не получил и двадцати долларов за свои статьи…

Вы как будто не понимаете. Мне казалось, я ясно объяснил, что эти сатирические стихи только развлечение и опыт. А вы пишете –

«все та же тема». Тема здесь ни при чем. Это только опыты построения и стихосложения. Правда, они отняли у меня много времени, но я все-таки выучил урок и никому ничем не обязан. Когда-то я делал героические усилия. Вспоминая о них, я смеюсь, но временами мне хочется плакать… а теперь я разучиваюсь и учусь заново… не буду пытаться взлететь, пока моя летательная машина не будет в порядке… теперь я стремлюсь к усовершенствованиям. Я подчиню мысль технике, пока не достигну техники, а потом – наоборот…»

Три дня спустя в очень тяжелом настроении он написал ей второе письмо о «долге», из которого я уже приводила несколько выдержек. Теперь привожу остальное.

«Дорогая! Я ценю ваш интерес к моим делам, но у нас нет общей почвы. В общем, в очень туманном общем вы знаете мои стремления, но о настоящем Джеке, о его мыслях, чувствах и т. п. вы совершенно ничего не знаете. Впрочем, как бы мало вы ни знали обо мне, вы знаете все же больше, чем кто-либо другой. Я сражался и продолжаю сражаться в одиночестве.

Вы говорите, чтобы я пошел к… Я знаю, как она меня любит. А вы знаете, как и за что? Я провел годы в Окленде, и мы не видались друг с другом. Смотрели друг другу в лицо не более чем раз в год. Если бы я следовал ее советам, если бы я послушал ее, я был бы теперь клерком, получающим сорок долларов в месяц, железнодорожным служащим или чем-нибудь в этом роде. У меня была бы зимняя одежда, я ходил бы в театр, имел приятный кружок знакомых, принадлежал к какому-нибудь отвратительному обществу, говорил, как они, думал, как они, поступал, как они, коротко сказать – у меня был бы полный желудок, тело в тепле, никаких угрызений совести, никакой горечи в сердце, никаких мучений самолюбия, никакой цели, кроме покупки обстановки в рассрочку да женитьбы. Я жил бы, как марионетка, и умер бы, как марионетка. Да. Но она и вполовину не любила бы меня, как любит теперь за то, что я отличался от других молодых людей в моем положении, – за все это она полюбила меня…

Если бы весь мир завтра оказался у моих ног, никто не радовался бы этому больше, чем она. И она сказала бы, что никогда не сомневалась в наступлении этого момента. Но до тех пор она будет уговаривать меня не думать, погрузиться на десятки лет в забвение, набивать себе живот, ничем не огорчаться и умереть так, как я жил бы, – скотом. Стоит ли учиться, чтобы извлекать радость из прочитанной поэмы? Она этого не делает и не испытывает лишения: Том, Дик, Гарри тоже не делают этого и тоже веселы. Зачем я развиваю свой ум? Это вовсе не нужно для счастья. Болтовня, маленькие скандальчики, разные пустяки могут удовлетворить меня. Удовлетворяют же они Тома, Дика, и Гарри, и они счастливы.

Пока мать жива, я, конечно, ничего не сделаю. Но если бы она умерла завтра и я бы знал, что моя жизнь будет именно такова: что я обречен жить в Окленде, работать в Окленде на каком-нибудь постоянном месте и умереть в Окленде, – тогда я завтра же перерезал бы себе горло и покончил бы с этим проклятым делом. Вы можете называть это сумасбродством, брожением юношеского самолюбия, считать, что все это в свое время смягчится, но я пережил и смягчение».

Дальше следует та часть письма о долге, которая была уже приведена, а также инцидент с кражей мяса в школе.

«…Вы говорите: «Это ваш долг, если вы хотите сохранять уважение тех, чьим одобрением и чьей дружбой вы дорожите». Если бы я следовал этому, разве я познакомился бы с вами? Если бы я следовал этому, кто знает, чьей дружбой я дорожил бы теперь? Если бы я следовал этому с детства, с кем бы я мог быть дружен?

Я не могу обнажить свое сердце, не могу положить его на бумагу, я только отличаю несколько конкретных фактов из моей жизни. Это может дать вам представление о моих чувствах. Если вы не будете знать инструмента, на котором они разыгрывают, вы не поймете музыки. Меня и того, как я чувствовал и мыслил в этой борьбе, как я чувствую и мыслю сейчас, – вы не знаете. Я голоден, голоден, голоден! С того времени, когда я украл кусочек мяса и не знал другого влечения, кроме влечения желудка, и посейчас, когда мои

требования более высоки, – все время был голод, голод, голод!.. Ничего, кроме голода.

Вы не можете понять этого, да и не захотите никогда!

И никто никогда не понимал. Я все перенес один. Долг говорил мне: «Не уходи! Становись за работу». Так говорили и окружающие, хоть и не прямо в лицо. Все глядели косо. И даже если они молчали, я знал, что они думают. Ни слова одобрения, но зато как много порицаний! Если бы только кто-нибудь сказал: я понимаю!

Со времени моего голодного детства на меня глядели холодные глаза, они меня вопрошали, насмехались надо мной, презирали меня. Больнее всего было то, что иногда эти глаза принадлежали моим друзьям, может быть, и скрытым, но настоящим друзьям. Я закалил себя и принимал удары, как будто они не были ударами, но о том, как мне было больно, знает только моя душа и я.

Пусть будет так! Конец еще не настал. Если я умру, я умру, сражаясь до конца, и в аду не будет более подходящего жителя, чем я. Но худо ли, хорошо ли, будет так, как было: я буду один. А вы запомните следующее: прошло время, когда Джон Галлифакс и вся джентльменская этика могли бы быть приняты мною. Если все, что я имею в настоящем, будет отнято у меня, – мне все равно. Я создам себе новое будущее. И если бы завтра я остался голодным и нагим, я, прежде чем сдаться, продолжал бы бороться и голодным и нагим!

…Франк (Франк Альтертов – старый приятель) играл на скрипке, а Джонни шумел в комнате, пока я писал это, так что вы простите несвязность.

Ваш Джек».

В следующем письме он пишет о сомнительном успехе рукописи, озаглавленной «Человек на пути», посланной в «Оверлендский ежемесячник». Я уже говорила в предисловии, что мой дядя заведовал в то время делами этого журнала. Я помню, что именно тогда он начал рассказывать дома о замечательных рассказах «этого мальчика – Джека Лондона».

«Франк наконец ушел, и я могу немного пописать. Почему вы не прислали мне того, что написали? Вы боялись оскорбить меня? Но

ваша прежняя откровенность в течение целого ряда лет исключает подобную возможность…

С этой почтой послал «послов» за статьями, отосланными еще в сентябре, которые пропали окончательно. Получил письмо от «Оверлендского ежемесячника». Вот его содержание: «Мы прочли вашу рукопись: она нам настолько понравилась, что, несмотря на то что у нас имеется громадное количество принятого и оплаченного материала, мы готовы сейчас же напечатать ее в январском номере, если… если вы удовлетворитесь пятью долларами».

В рукописи от трех до четырех тысяч слов. Она стоит много больше пяти долларов по обычной репортерской ставке по столько-то за столбец. Что вы скажете о подобном предложении со стороны такого первоклассного журнала, как «Оверленд»?..

Рождество 1898 года было для Джека особенно суровым. Ему пришлось отказаться от взятой напрокат пишущей машинки. Усталый, разочарованный, он с бессознательной жестокостью написал любившей его девушке письмо, в котором высказывал таившуюся в нем потребность в семье.

«Это, пожалуй, самое одинокое Рождество в моей жизни… Никого, с кем бы поговорить, ни друга, к которому бы я мог пойти… Впрочем, если бы и были друзья, я бы не смог. Отныне не знаю, сколько времени придется вам мириться с моим ужасным почерком. По всей вероятности, это последнее письмо, написанное на машинке… Возвращаю машинку 31 декабря… а затем Новый год и полная перемена фронта…

Я много преуспел, многому научился за последние три месяца. Как велик успех – это я не могу взвесить даже приблизительно; я только чувствую всю цену его и значение, но все это слишком неосязаемо, чтобы я мог изложить о нем черным по белому. Я учился, изучал, читал и думал, и мне кажется, что я наконец начинаю овладевать положением – общим положением, моим положением и соотношением между ними. Я скромен. Как я сказал – я только начинаю овладевать. Я понимаю, что при всем том, чему я научился, я понимаю меньше, чем мне казалось два года тому назад.

Сознаете ли вы парадокс, создаваемый прогрессом? Он и радует и огорчает меня. Нельзя не огорчаться, глядя на проделанную работу и убеждаясь в слабых местах, и все же нельзя не радоваться тому, что умеешь видеть это и умеешь делать лучше. Я научился за три месяца большему, чем за все пребывание в Высшей школе и в колледже, хотя, конечно, последнее было необходимо с точки зрения подготовки.

Сегодня Рождество. В такие дни мои бродяжнические инстинкты уступают место открытому тяготению к семейной жизни. Довольно с меня разных закоулков нашего белого света. Я глух к призывам Востока, Запада, Юга и Севера – передо мной картина, вроде тех, что рисует Фред Джекобе: уютный маленький коттедж, избранный круг друзей и прежде всего и надо всем – милая маленькая жена и парочка наших уменьшенных слепков. Чулки, повешенные с вечера, радостные сюрпризы поутру, обмен веселыми рождественскими поздравлениями, большой огонь в камине, дети, прикорнувшие на полу перед тем, как идти спать, какая-то дремотная связь между огнем, женой и мною, обеспеченное, спокойное, монотонное будущее в перспективе, удовлетворение от разных мелких удобств цивилизованной жизни, к которой я принадлежу и буду принадлежать, радостное оптимистическое созерцание…

Испытывали вы что-нибудь подобное? Фред мечтал об этом, но никогда не переживал. Мне кажется, моя судьба такая же… Да будет так!.. Все это азартная игра, и выиграет тот, кто меньше всего понимает игру. Самые несчастные игроки те, которые имеют систему или думают, что имеют систему: эти всегда бывают сломлены…

Я отказываюсь от своих старых догматов и в будущем буду поклоняться истинному Богу: «Нет бога, кроме Случая, и Счастье пророк его». Тот, кто раздумывает, кто создает системы, – погиб. Как и в религиях – вера здесь искупает все. Я принесу многочисленные гекатомбы и множество жирных первенцев, – вы увидите дым (простите, я хотел сказать – курения).

Начал писать письмо и дошел до бессмыслицы. Простите. Иду обедать к сестре. Желаю всем счастливого Нового года».

В январе 1899 года в Оверленде вышел рассказ «Человеку на пути». В это время Джек успел прийти к выводу, что вдохновения не существует.

«Я пришел к выводу: такой вещи, как вдохновение, не существует. Я когда-то думал иначе и соответственно этому изображал собою осла. Упорство – вот тайна литературы, как и всего остального. Пожалуй, кроме того, чтобы родиться в рубашке или отправиться в Клондайк. Единственное вдохновение – это то, которое осеняет оратора, когда он обращается к большой, симпатизирующей ему толпе.

Бедное дитя! Вы строите четыре предположения относительно судьбы моего велосипеда и не делаете единственного верного – что он гостит у моего еврейского дядюшки, как и многие другие вещи, слишком многочисленные, чтобы их перечислить. Страшно весело работать при таких условиях. Ваше счастье, что вы получили эту книжку «Оверленда». Это единственная, которая у меня есть, и мне пришлось занять десять центов, чтобы купить ее.

Журнал «Черный Кот» пишет мне относительно посланной им рукописи. Они желают получить разные сведения, так как я неизвестен. Они желают знать, написал ли я это сам, и моя ли это идея, было ли это когда-либо напечатано и по частям или целиком, показывал ли я эту вещь кому-нибудь и не желает ли кто-нибудь перепечатать ее… Не могу себе представить, сколько они собираются заплатить»…

Вот выдержка из письма, написанного 13 января 1899 г., которая свидетельствует об одиночестве и тревоге Джека.

«Сомневаюсь, чтобы вы могли понять, как я огорчен, – уже тринадцать дней, как я не писал вам ни звука. Наконец, подумал: «Может быть, она помнит о дне моего рождения и ждет, чтобы письмо пришло в этот день»? Вчера утром я был уверен, что оно придет. Когда оно не пришло, то вся моя незыблемая уверенность была перенесена на вечер. Увы! Почтальон принес лишь напоминание о долге!

Да, вчера был день моего рождения. Я не ожидал пожеланий «много раз весело встретить этот день», да и не получил их. Только сестра пожелала мне что-то в этом роде. Решил прервать скуку бесконечного писания прозы и позволить себе маленький праздник… Итак, я прочел утренние газеты, ответил на два – три спешных письма, уломал мясника и булочника, чтобы получить возможность удовлетворить бессмысленные жизненные потребности, призвал Музу и уселся писать стихи. Самое занятное во всем этом то, что я делал это из чувства долга».

Январь 1899 года.

…Забыл сообщить вам в последнем своем письме, что я оказался первым в списке кандидатов в грузчики. Мой процент оказался 85.38 (Джек держал экзамены при городском управлении на должность грузчика, но, выдержав, узнал, что вакансии нет…), но может пройти целый год, прежде чем я получу место…»

28 февраля 1899 года.

«Дорогая! Вы знаете, мы перебиваемся со дня на день, не имея никаких доходов, кроме моего заработка, особенно сейчас. Все вещи в закладе, а счета все поступают. Между тем мне хочется сделать что-нибудь хорошее в будущем месяце: я рассчитываю получить приглашение по почте в апреле или даже раньше.

По поводу хорошей работы сейчас объясню: издатель «Ежемесячника» Джемс Говард Бридж вернулся наконец, и сейчас же послал за мной… Вот суть нашего разговора: несмотря на то, что он советует большинству кандидатов в сотрудники журнала искать другой работы, со мной он поступает иначе. У меня настоящая хватка, надо развить. Несколько человек справлялись обо мне в воскресном издании «Экзаминера», и т. д. Он купил февральский номер «Ежемесячника» в поезде, и его захватило мое «Белое безмолвие». Он говорил, что это самая сильная вещь, появившаяся в журналах за весь год. Но он боится, что это случайность, что я не сумею удержаться на этом уровне, и т. п. Вот его предложение: «Оверлендский ежемесячник» печатает сорок страниц рекламы по тридцати долларов за страницу, в то время как Мак Клюр печатает

сто страниц по триста долларов за страницу. Между тем печать, гравюры, бумага, почта и т. д. стоят ему столько же, сколько и «Ежемесячнику». И единственное, на чем «Ежемесячник» может экономить – это на писателях, что он и делает. Но хотя он и не может оплачивать меня хорошо, он предлагает мне очень выгодные условия. Если я осуществлю то, что обещаю, он отведет мне достаточно места на страницах журнала и позаботится о том, чтобы газеты и другие журналы объявили обо мне, устроили бум, чтобы предложить мое имя публике. Вы понимаете, конечно, как это ценно…

…Из всего изложенного вы можете видеть, что мои перспективы расширяются, правда, пока только в возможности. Я могу не оправдать ожиданий, не удержаться, мне может понадобиться дальнейшее развитие, прежде чем я смогу идти дальше: но если даже и не так, все-таки успех требует долгого ожидания. Прилагаю письмо от Клаудеслея Джонса. Возвратите мне его и напишите, что вы о нем думаете. Не думайте, что у меня голова пошла кругом. У меня сердце дрожало, когда я увидел «Белое безмолвие» напечатанным, а теперь я уже ничего в нем не вижу».

Глава пятая. Переписка с Клаудеслеем Джонсом

«Клаудеслей Джонс был первым человеком, написавшим мне о моей работе», – всегда помнил Джек. Мистер Джонс прочел «Человека на пути» и «Белое безмолвие» в январском и февральском номерах «Оверлендского ежемесячника», и восторгу его не было границ. На одном из писем Джека он написал следующую фразу:

«Предсказываю, что будет великим. Сказал ему, чтобы он не разочаровал меня. Он не разочарует.

Клаудеслей Джонс».

Ответ Джека на первое письмо Джонса датирован 10 февраля 1899 года.

«Дорогой сэр! Как подбодрила меня ваша короткая записка! По ней я вижу, что вы можете оценить скитания ощупью, в темноте, по необычным путям. Это первое слово поощрения, полученное мною, поощрения гораздо более сильного, чем издательские чеки.

Если крутой подбородок и сознание – может быть, обманчивое – растущей силы могут помочь исполнению вашего предсказания, то оно до известной степени может осуществиться… Да, мое имя Джек Лондон – не очень-то американская фамилия, но унаследованная от предков-янки, относящихся ко времени еще до французской и индейской войны.

Благодарю вас за ваше внимание.

Искренно преданный вам Джек Лондон».

Во втором письме Джек писал Джонсу:

«Что касается моей фотографии, то вы – в числе друзей, которые ждут ее, и ждут тщетно. На последней карточке я снят матросом, с японской девочкой из Иокогамы, и она у меня только одна. Но вот

что я могу сделать: рассказать вам все о себе. В январе мне минуло двадцать три года. Мой рост без каблуков – пять футов семь или восемь дюймов; меня укоротила служба в матросах (его полный рост был пять футов девять дюймов). В настоящее время мой вес – 168 фунтов, но, живя на свежем воздухе и привыкнув к нему, я быстро достигаю 180. Я брит; когда не бреюсь, появляются светлые усы и черная борода, но они плохо растут. Гладкое лицо делает мой возраст загадочным; самые компетентные судьи дают мне обычно от двадцати до тридцати лет. Зеленовато-серые глаза, сросшиеся брови, каштановые волосы были черными, когда я родился… лицо бронзовое от долгих встреч с солнцем, хотя сейчас сидячая жизнь победила его, и оно стало абсолютно желтым. Несколько шрамов. Отсутствие восьми верхних передних зубов, обычно скрываемое фальшивыми. Вот я целиком…»

27 февраля 1899 года.

«Дорогой сэр!..

Я ценю высокую похвалу, заключающуюся в сравнении меня с Тургеневым. Но, сознавая его высокое место в литературе, я все же знаю, что мы чужды друг другу.

Мой любимый способ работы – написать от пятидесяти до трехсот слов, а затем переписать их набело. Все исправления, какие бы ни делались, вставляются во время перепечатывания или вписываются в рукопись чернилами… В последнее время я научился сочинять все до самого конца, не прикасаясь к перу и бумаге. Я нахожу, что так лучше работаешь.

Как вы насчет юмора? Я очень ценю его, но даже ради спасения жизни не смог бы развить в себе творческой способности к нему».

30 марта 1899 года.

«Мой дорогой друг! Три или четыре месяца на краю пустыни – как я вам завидую! И все же благодарю небо, что я не на вашем месте! Но какое прекрасное место для писания! Вот одна из оборотных сторон моего жилища: каждый приходит, когда ему угодно, а я не решаюсь отказать. Время от времени является какой-нибудь матрос. У всех без исключения одна и та же история: вернулся из

путешествия; какой чудесный малый этот Джек Лондон; какой хороший товарищ; никогда в жизни никого так не любил; оставил на судне кучу редкостей; принесет на днях; скоро заплатят; рассчитывает получить деньги завтра. «Скажи, Джек, старый дружище, не можешь ли одолжить до завтра пару долларов?» Они всегда кончают этим. Тут я сбавляю наполовину, вручаю деньги, и он уходит. О некоторых я больше не слышу, другие приходят по три, по четыре раза.

У меня фатальная способность – приобретать друзей, не прилагая к тому никаких усилий. И они меня никогда не забывают. Мои друзья-женщины говорят про меня: «Ведь это только Джек». Этого достаточно. При каждом затруднении или путанице они меня зовут на выручку. В воскресенье с самого утра я все свое время потратил на одну из них и сделал то, чего она и ее друзья не могли сделать за пять лет. Сегодня вечером окончательно кончаю все дело к ее полному удовлетворению, но представьте себе, сколько я потратил времени! Конечно, о вознаграждении не может быть и речи, но ведь это настолько привяжет ее ко мне, что она снова позовет меня, когда в следующий раз попадет в беду. Так вот и уходит – время, время, время! Как драгоценны часы!

Но не надо быть несправедливым. На днях я встретил в вагоне старого приятеля: он в восторге от этой встречи, я непременно должен вернуться в «общество». В конце концов я обещал прийти на следующий вечер. Он распространил эту новость среди друзей, которые не видели меня целых два года. Правда, я никогда не думал, что они, и вообще кто бы то ни было, так дорожили мною; я чуть не заплакал от радости, увидев их искреннее удовольствие… Удрать не мог. Провел с ними всю ночь; заказали ужин, пригласили еще забытых друзей, и т. д., и т. д.

Мне странно вот что: я считаю благословением иметь таких хороших друзей, но, признаюсь, я никогда не делал ничего, чтобы приобрести или удержать их. Представьте себе, что все эти люди, о которых я пишу, никогда не видали от меня какой бы то ни было услуги, они не связаны со мной ни общественными, ни родственными, ни даже интеллектуальными связями.

Но я так много времени был в одиночестве, что не могу больше надолго оставаться оторванным от городской жизни. Поэтому-то

главным образом я и доволен, что не нахожусь в вашем положении. Хотя вы можете поддержать связь с миром при помощи проходящих поездов.

…Упорная воля может сделать все. Я думаю, вы обладаете ею. Почему вам не выработать привычку к усидчивости? Такой вещи, как вдохновение, не существует вовсе, а талант – это очень мало. Усидчивость, расцветающая при благоприятных обстоятельствах, дает то, что мы принимаем за вдохновение, и, конечно, она делает возможным развитие того первоначального зародыша таланта, который, может быть, и имеется. Упорство – чудеснейшая вещь; оно может сдвинуть такие горы, о которых вера не смеет и мечтать. Действительно, упорство должно быть законным отцом всякой уверенности в себе.

…Изучение человеческой природы – моя большая слабость. Не зная Бога, я сотворил себе религию из человека; конечно, я успел узнать, как низко он может пасть. Но это только укрепляет мой взгляд, потому что придает большую цену тем высотам, на которые он способен подняться. Как он мал и как он велик! Но эта слабость, это желание прийти в соприкосновение с каждой необычайной личностью, которую я встречаю, доставляет мне много забот.

Может быть, в 1900 году я поеду в Париж. Но прежде должно случиться много великих событий. Мне понравился рассказ, который вы мне прислали. Не сентиментальные излияния, не истерика, но подлинный пафос… Наши журналы так добродетельны, что я удивляюсь, как они напечатали такую рискованную, такую хорошую вещь. Эта ненужная тревога о том, как бы не заставить покраснеть девственные щеки американских барышень, отвратительна. А теперь им разрешено читать газеты! Читали ли вы сравнение американской и французской молодой женщины, которое сделал Поль Бурже?

…Я признаю справедливость вашей критики по поводу изменений Мелмуда Кида… Но вы заметили, что в «Сыне Волка» он появляется очень бегло? Ваше проницательное предостережение, что я сам могу слишком полюбить его, удивило меня. Боюсь, что я очень привязан к нему – не к тому, который в печати, а к тому, который в моем мозгу. Я сомневаюсь, чтобы мне когда-нибудь удалось сдать его в печать».

22 апреля 1899 года.

«…Ага, вы просите комфорта взамен условностей, так? Правильно. Завтра я должен надеть белую рубашку, и, конечно, я надену ее с протестом. Обычно я ношу свитер и делаю визиты в велосипедном костюме. Мои друзья уже изжили период, когда они были шокированы, и теперь, что бы я ни сделал, они говорят: «Это только Джек». Однажды я ехал верхом из Фрезно до Йосмитской долины[8], одетый главным образом в тропическое дезабилье, с бальным веером и шелковым зонтиком. Занятно было смотреть на жителей, выбегавших смотреть на меня. Некоторые из нашей компании, шедшие сзади, слышали догадки о том, мужчина я или женщина. Женщины, бывшие с нами, были тонкого воспитания, и я до сих пор не знаю, пришли ли они в себя и находятся ли сейчас в нормальном состоянии. Фактически мне не удалось смутить только одного человека – старого повара-китайца…»

30 апреля 1899 года.

«Дорогой друг!.. Значит, вы тоже социалист? Как мы растем! Я вспоминаю то время, когда всех социалистов в Окленде можно было по пальцам пересчитать… Я только не согласен с вами в том, что с переменой системы будет нанесен смертельный удар индивидуальности. Вожди всегда будут, и ни один человек не может быть вождем, не борясь за свое положение, – ни один вождь в какой бы то ни было отрасли. Вижу, что мы по крайней мере сходимся во взгляде на храбрость. Для меня мужчина, лишенный храбрости, самая отвратительная вещь на свете, насмешка над всей системой мироздания.

…Моя мать тоже стоит за крематорий. Я думаю, что это самое чистое, самое здоровое и лучшее. Но я не особенно беспокоюсь о

---

[8] Йосмитская долина находится в Калифорнии, в 350 км от С.-Франциско, между вост. и зап. подошвами Сиерры-Невады. За свою необычайную красоту она прозвана чудом вселенной. Долина эта уступлена Конгрессом штату Калифорния под условием сохранения ее на вечные времена неприкосновенным общественным парком.

том, что будет с моим скелетом, когда я с ним покончу. Что же касается того, чтобы быть погребенным заживо, то счастлив тот, кто может умереть дважды: как бы ни была мучительна агония, ведь это только мгновение. Я уверен, что страдание смерти не сильнее, чем страдание в тот момент, когда накладываются щипцы на больной зуб. Если же это больнее, то ощущение должно быть потрясающе… Вы должны простить меня за это письмо. Дух мой мертв в настоящее время… Я немного зачитался. Для примера приведу список того, над чем я работаю, – это не считая трех газет и шатких попыток на современную литературу: Сент-Арман – «Революция 1848 года»; Брюстер – «Этюды построения и стиля»; Жордан – «Примечания к Эволюции»; Тиррель – «Субарктика»; Бем-Баверк – «Капитал и проценты». Последняя книга – опровержение теории Карла Маркса о ценностях, определяемых или измеряемых трудом».

18 мая 1899 года.

«…Как и вы, я пришел к социализму эволюционным путем, хотя и довольно давно. Вы говорите: «Чтобы удержать за собой предводительство, надо иметь или приобрести все те качества, которые общество и политика требуют от своих фаворитов: лицемерие, неискренность, лукавство и т. д. Роберт Луи Стивенсон был человеком, которого некоторые, довольно широкие, слои в некоторых, довольно тонких, областях считали своим вождем, но я убежден, что он не обладал этими качествами. Это относится ко всякому искусству, науке, профессии или спорту и т. п. Я понимаю, что ваше мнение относится главным образом к политике, но представляете ли вы себе, как много раболепства и низкой лжи зависит от политики партий? А при удалении партии и всей грабительской системы с поля действия разве вы не допускаете, что может выдвинуться лучший класс людей, политических лидеров, людей, чьи безупречные качества в настоящее время не позволяют им пресмыкаться в грязи для того, чтобы получить пост вождя?»

28 мая 1899 года.

«…Верьте, я не ожидаю перерождения человечества в один день. Я также не думаю, чтобы надо было родиться вторично, прежде чем

социализм будет осуществлен. Главный движущий принцип этого движения – себялюбие, чистое, прямое себялюбие, возвышение, как простое ультимативное и императивное следствие лучшего окружения».

12 июня 1899 года.

«…Да, я согласен с вами. «В далекой стране» должно было быть лучшим рассказом в сборнике, но не было им. Что касается неуклюжести построения, то вы, конечно, заметили это. Не знаю, сумею ли я когда-нибудь исправить… вы видите, я иду ощупью и ощупью ищу свой собственный стиль, который должен стать моим, но которого пока еще не нашел.

…По поводу плагиата: вы просто сверхчувствительны в этом вопросе. Знайте, что «В далекой стране» было написано много времени спустя после того, как я прочел вашего «Нортон Дрэк и Kº». Но я не заметил совпадения, пока вы мне на него не указали. Боже мой, ни вы, ни я не были первыми, использовавшими сломанную спину; что же мы, значит, не можем пользоваться этим? О скольких разбитых спинах, ногах и сердцах писалось и писалось!.. Возьмите «Белое безмолвие». Сколько раз было использовано падающее дерево?..»

23 июня 1899 года.

«…Не забывайте, что есть логика выше, чем нравственная и формальная. Нравственная и формальная логика совершенно основательно доказывает, что женщина должна пользоваться избирательным правом. Но высшая логика говорит: нет. Почему? Потому что она женщина, потому что она заключает в себе то, что помешает, что не допустит ее экономической и избирательной независимости так же, как не допустит ее избежать того, чтобы до конца принести себя в жертву мужчине. Я говорю о женщинах вообще. То же и с расовой проблемой. Разные семейства людей должны покориться закону, неумолимому, слепому, нерассуждающему закону, не знающему ни добра, ни зла, ни справедливого и несправедливого, закону, не делающему предпочтения, закону, не дающему преимуществ ни атому в молекуле воды, ни какой-либо

единице в звездной системе, закону бессознательному, абстрактному, как время, пространство, материя, движение, в котором невозможно найти ни начала, ни конца. Это высший закон, высшая логика, пред которой должны склониться люди-черви, хотят они этого или нет.

Социализм – не идеальная система, изобретенная людьми для счастья всей жизни или счастья всех людей. Она изобретена для счастья избранных рас. Она изобретена для того, чтобы придать большую мощь этим избранным расам, чтобы они могли существовать и унаследовать землю после вырождения низших, слабейших рас. Настоящие приверженцы социализма будут говорить вам о братстве людей, и, я знаю, они искренни. Но это не меняет закона, они лишь орудия, слепо работающие над улучшением некоторых избранных рас и над разрушением низших рас, которые они называют братьями. Это закон: они, может быть, и не знают этого, но это не мешает логике событий».

29 июля 1899 года.

«Дорогой друг!.. Наконец уехали гости! Я слишком утомлен гостями, чтобы приняться за работу. А меня ожидает разнообразная работа. Приходилось ли вам когда-нибудь писать рассказ, скажем, в двадцать тысяч слов, причем каждое слово необходимо как воздух, а потом получить от кого-нибудь предложение выпустить три тысячи слов? Сейчас мне сделал такое предложение «Атлантик». Не знаю, согласиться или нет. Это все равно, что вырезать фунт «мяса» (дело шло о «Северной Одиссее», появившейся в «Атлантике» в январе следующего года. *Ч. Л.*).

…Несколько лет тому назад, три года во всяком случае, я написал очерк «Дорога», в котором описывал трампов, их образ жизни и т. п. Очерк побывал всюду, и все синдикаты, все крупные воскресные издания отказывались от него, как от описательной статьи. Но я все посылал и посылал его. И вот на днях пришло извещение о том, что он принят «Ареной»… Скажите, если какой-нибудь третьеразрядный журнал печатает вас, и вы ждете уплаты в течение тридцати дней по напечатании, а затем начинаете требовать денег, и они даже не отвечают на ваши письма, что вы тогда делаете? Есть ли

какой-нибудь способ взыскать с них? Или надо молча терпеть? Скажите, скажите мне, и я покажу тогда мошенникам!

…Как вы говорите, я тверд. Иногда по пустякам я могу показаться нетерпеливым и т. п. Но каждый, кому приходилось иметь со мной дело, мог заметить следующее: дела идут по-моему, даже если для этого нужны годы. Ничто не может пересилить меня, конечно, не считая отдельных мелочей данного момента. Я не упрям, но я упорно иду к своей цели, как игла к полюсу: отсрочка, уклонение, прямая или тайная оппозиция – неважно: будет по-моему!»

10 августа 1899 года.

«…Да, я сократил рассказ для «Атлантика». Там было двенадцать тысяч двести пятьдесят слов, и, хотя они и просили меня сократить до трех тысяч, я едва смог свести к десяти. Послал также Хоутону, Меффлину и K° серию рассказов (сборник «Сын Волка»).

…Но ведь я серьезно смотрю на себя. Мое самоуважение возникло в трезвые минуты. Я очень рано сознал, что во мне две природы. Это доставило мне много затруднений, пока я не выработал жизненной философии и не пришел к компромиссу между плотью и духом. Сильное преобладание одного над другим было бы ненормальным, а так как нормальное – мой идол, то я в конце концов успешно уравновесил обе природы. Обычно они в равновесии, но иногда то одна, то другая начинает брать верх. А я питаю мало уважения и к абсолютному скоту и к абсолютному святому.

Мне кажется, наиболее разумным в мире способом поступит тот человек, который, учтя элемент случайности, изберет конечное счастье предпочтительно перед счастьем ближайшим. Тот, кто выбирает ближайшее счастье, – скотина, тот, кто выбирает бессмертное счастье, – осел, но тот, кто выбирает конечное счастье, – знает, что делает.

…Я сомневаюсь, чтобы даже вы откровенно признали роман настоящей литературой. Если так, то оставим фикцию и воздадим должное газетам, фиксирующим или меняющим общественное мнение, особенно в более мелких вопросах. Но уже одни «Основные начала» Спенсера, не касаясь остальных его трудов, сделали для человечества больше и в веках сделают больше, чем тысячи книг,

вроде «Николая Никкльби» или «Хижины дяди Тома». Подумайте о том громадном значении, которое имели для человеческого блага «Происхождение видов» или «Происхождение человека» Дарвина, или творения Рескина, Милля, Гекели, Карлейля…»

26 сентября 1899 года.

«…Как я завидую, что вам не приходится писать для печатания. Конечно, у вас больше шансов достигнуть намеченной цели, чем у меня, находящегося в вечной погоне за долларами, долларами и долларами! И я даже не знаю, как быть иначе, потому что надо же человеку жить? И потом от меня зависят и другие… Начал понемногу отдаляться от друзей… но от иных нельзя отделаться иначе, как удрав. Только вместо пустыни я думаю уйти в море. Многие, кто меня знает, спрашивают, почему я не напишу какого-нибудь морского романа. Но, видите ли, я так давно не был в море, что утратил связь с ним. Надо сначала вернуться, насытиться той атмосферой. Тогда, быть может, я сумею сделать что-нибудь хорошее».

30 сентября 1899 года.

«…Пишу теперь по тысяче слов в день и шесть дней в неделю. На прошлой неделе я сделал на тысячу сто слов больше, чем назначил себе. Я взял за правило догонять на следующий день то, что не успел сделать в данный день, а то, что сделал сверх положенного, того я не считаю. Я уверен, что так можно в течение определенного периода выработать больше, чем работая урывками и скачками. Как летит время! Скоро Рождество и приближается Пасха. Ах! Улыбнутся ли боги так, чтобы я мог поехать?»

24 октября 1899 года.

«Дорогой Клаудеслей! Полное смятение, гости еще здесь! Итак, вы шахматный игрок? И это единственная приемлемая для вас форма развлечения? Что касается меня, я держусь другого мнения, но о вас делаю вывод, что вы хороший игрок. Я никогда не встречался с хорошими игроками – тратил время на обучение начинающих, а для шахмат нет ничего более вредного. Кроме того, у меня никогда не было времени.

…Вы думаете, что могли бы сделаться отшельником? Для меня это было бы труднее, чем стать самоубийцей… Отшельничество – это ад!»

31 октября 1899 года.

«…Вы говорите, что мир – синоним ада, как я говорю это про отшельничество. Не могу согласиться. Есть некоторые искупающие мир вещи. Пока существует хоть одна хорошая женщина, этого не может быть.

Помню, однажды я несколько недель подряд глубоко обсуждал вопрос об избавлении. Казалось, тучи никогда не рассеются. Но потом они рассеялись, и, я думаю, вы никак не угадаете, что смягчило мое настроение. Ко мне вернулось воспоминание о дне, о часе, нет, о нескольких жалких минутах, о временах, затерянных в глубоком прошлом. Я вспомнил… что? Женскую ногу. Мы были на море. Нам пришлось идти вброд, и мы зарыли ноги в горячий песок, чтобы высушить их. И вот эти минуты вернулись ко мне каплями «нежности и света». Ад? Нет, пока на земле есть хоть одна женская нога! Не думайте, пожалуйста, что я влюблен. Просто сентиментальность. Не так часто со мной бывает».

21 ноября 1899 года.

«Если деньги придут вместе со славой – пусть придет слава. Если деньги придут без славы – пусть придут деньги».

12 декабря 1899 года.

«…Дорогой Клаудеслей!.. Вы ошибаетесь. Я не верю в мировое братство людей. Кажется, я уже говорил об этом. Я верю, что моя раса – соль земли. Я научный социалист, а не утопист, я – человек практики в противоположность человеку воображения. Последнее, впрочем, становится анахронизмом.

Нет, нет, банкротство вовсе не идеальное состояние, по крайней мере для меня. Это слишком ужасно. Дайте мне миллионы, и я приму ответственность».

Глава шестая. Знакомство с Анной Струнской. Переписка. Женитьба на Бесси Мадерн

Анна Струнская была русской еврейкой, студенткой Стенфордского университета. Это была пылкая семнадцатилетняя девушка, интеллигентная, обладающая даром речи, яркая и горячая, как цветок мака, освещенный апрельским солнцем. Она резко отличалась от других женщин, с которыми Джек до сих пор встречался, – такая приветливая, откровенная, с широким сердцем, с глубокой, прямой честностью. Все любили Анну – и мужчины, и женщины. Ее дружба с Джеком сложилась просто и естественно, их духовная и нравственная близость длилась многие годы. Джек был очарован не только Анной, но всей ее приветливой, гостеприимной, интеллигентной семьей. «Это прекрасные, тонкие люди, личности, а не масса. Они стоят за все высокое. Хорошо знать таких людей» – характеризовал Джек эту семью в одном письме.

В 1919 году Анна Струнская сообщила мне подробности их первой встречи и свое первое впечатление о Джеке.

«…Мы встретились с Джеком на лекции Аустина Леви в конце 1899 года. Мы оба устремились к трибуне приветствовать оратора. В это время кто-то из знакомых спросил: «Хотите познакомиться? Это Джек Лондон, товарищ, который говорит на улицах Окленда. Он был в Клондайке и теперь пишет рассказы для заработка». Мы пожали друг другу руки и стали разговаривать. Я чувствовала необычайную радость, как будто встретила Лассаля, Карла Маркса или Байрона в молодости, так отчетливо я чувствовала, что имею дело с исторической личностью. Почему? Я не могла бы сказать. Может быть, потому, что это действительно было так, что он действительно принадлежал к немногим бессмертным. Это было субъективное впечатление.

Объективно же – передо мной был молодой человек лет двадцати двух, с бледным лицом, освещенным большими синими глазами, с прекрасным ртом, обнаруживавшим при улыбке отсутствие передних зубов. Это придавало ему несколько мальчишеский вид. Лоб, нос, контур щек были эллинские. Фигура производила впечатление грации и атлетической силы, хотя он и был несколько ниже обычного для американца, вернее, калифорнийца, роста. Он был в сером костюме. На нем была мягкая белая рубашка и воротник, которые он уже тогда избрал, как свою обычную одежду раз и навсегда.

…Тогда началась наша дружба…»

Вот первое письмо, написанное Джеком к Анне Струнской:

19 декабря 1899 года.

«Дорогая мисс Струнская!

Вы сказали мне на прощание, что вы тоже кандидат в литераторы. Может быть, я мог бы помочь вам, не в области высшей критики, но в более прозаичной, хотя и не менее важной области – в деле представления рукописей. После долгих трудов я познал нравы «молчаливых и угрюмых людей, управляющих журналами», цены, значение, приемлемость и т. п. Если вы нуждаетесь в чем-нибудь подобном (в практическом человеке), верьте, я искренне к вашим услугам».

29 декабря.

«Дорогая мисс Струнская!.. Во всяком случае знайте, что я без оговорок соглашаюсь с вашим диагнозом того, в чем и как я ошибся. Если память мне не изменяет, это был мой первый и последний опыт психологического анализа. Я хочу сказать, что мне надо многого добиться, прежде чем я снова примусь за такую работу. Я знал, я чувствовал, что многое нехорошо, что конец не подходит и т. д., и т. д., но и только. Вы же дали мне более ясное представление. У меня было неопределенное ощущение, что что-то не так; вы указали, что именно… И что важнее всего, вы указали на недостаток одухотво-

ренности, идеализированной одухотворенности – не знаю, правильно ли я выражаюсь. Вы понимаете? Я пришел к вам из пустыни, как душа, алчущая и жаждущая неизвестно чего. Все лучшее и высшее вытоптано во мне. Вы знаете мою жизнь… Я гонялся за тенью, насмехался, не верил, зачастую обманывал собственное сердце, сомневался в том, во что меня заставляло верить мое сомнение… Но прежде всего я жаждал… Пожалуйста, не подумайте, что я истеричен… Я надеюсь, мы будем друзьями».

22 января 1900 года Джек писал Клаудеслею:

«…Заложил велосипед, купил почтовых марок, привел в некоторый порядок дела… Надо засесть за работу: повысил норму до полутора тысяч слов в день, пока не выберусь из ямы… Иногда догоняю до двух тысяч. Каково? И в то же время не отказываюсь ни от каких обязательств, продолжаю заниматься и исправлять от 16 до 48 страниц корректуры в день. Иногда не выхожу по сорок восемь часов и вижу только соседний подъезд, когда покупаю вечернюю газету… Я откровенно и грубо связан деньгами».

10 февраля.

«Дорогой Клаудеслей!

Я имел успех у Мак Клюра. Помните рассказ о священнике, который отрекся, и грешнике, который не отрекся? Мак Клюр принял его при условии, что я соглашусь отбросить начало и выкинуть несколько богохульств. Конечно, я согласился. Ведь там шесть тысяч слов. Через два дня я получил извещение, что они приняли «Вопрос о максимуме» – социалистическую статью, которую я вам читал… Они хотели бы еще рассказов, просят прислать, если у меня есть, длинную повесть и сборник коротеньких рассказов для просмотра и издания. Закончил корректуру «Сына Волка» – 251 печатная страница.

…Я говорил вам, что считаю абсолютный пауперизм столь же нежелательным, как и богатство. Скажите, вы действительно так думаете? Конечно, вы непоследовательны. Конечно, вы жертвовали (периодически) вашим именем и вашим искусством, изменяя рассказы. Далее, вы делали это для денег. Вы не можете защищаться, вы знаете, что не можете. Почему же не быть откровенно грубым, как

я? Вы делаете то же самое, когда пишете как попало. Печать, журналы, рассказы на премию для «Черного Кота» – все это деньги. Будьте последовательны, даже если вы будете так же гнусны, как я, в вопросе о долларах и центах…

…Дорогой друг, если бы я не был «животным с логической природой», я не был бы здесь сейчас. Только поэтому я не погиб и не застрял в пути. Меня называли грубым, холодным, жестоким, упорным и т. д. А почему? Потому что я не пожелал остановиться на их станции и оставаться на ней до конца моих дней. Деньги? Деньги дадут мне вещи, или по крайней мере больше вещей, чем я мог бы получить иначе. Они могут даже перенести меня на ту сторону света, чтобы я встретил родственную душу; между тем без них я мог бы дома жениться неудачно и прозябать, пока не кончится игра.

Получил извещение от «Товарища молодежи», что они примут вещь, если я удлиню вступление… Помните «Волну»? Вчера я послал им короткую записку и вложил в конверт полдюжины ломбардных квитанций и двухпенсовую марку. Интересно, что они сделают?»

17 февраля 1900 года.

«Дорогой Клаудеслей… Итак, когда вы работаете лучше всего, вы делаете не больше четырехсот-пятисот слов в день? Хорошо. Очень хорошо. Я настаиваю на том, что нельзя писать хорошо, если пишешь по три-четыре тысячи слов в день».

1 марта 1900 года.

«Я деятельно работаю: должен кончить рассказ для Мак Клюра, рассказ для «Атлантика» и речь для Оклендской секции к одиннадцатому. А затем непременно надо написать рассказ для «Черного Кота». До сих пор не придумал еще завязку или даже идею. Хотел послать им «Человека со шрамом», но его принял Мак Клюр…

Мак Клюр платит хорошо. За два рассказа и одну статью, принятые ими, всего в пятнадцать тысяч слов, они прислали мне триста долларов, по двадцати долларов за тысячу. Это лучшая плата, какую я до сих пор получал. Если они захотят купить меня – и тело, и душу – пусть приходят: только пусть дадут подходящую цену. Я

пишу за деньги. Если я добьюсь славы, это будет, значит, *больше денег. Больше денег* для меня означает *больше жизни.* Я всегда буду ненавидеть добывание денег. Я всегда сажусь писать с крайним отвращением. Я предпочел бы блуждать по разным старым местам. Поэтому добывание денег никогда не превратится у меня в порок. Но трата денег… о, Боже! Я всегда буду жертвой этого. Получил эти триста долларов в понедельник. Сейчас у меня в кармане около четырех долларов».

15 марта 1900 года он послал Анне свои ранние произведения со следующим письмом:

«Дорогая Анна… Когда будете просматривать… пожалуйста, помните, что я показался вам во всей своей наготе… все эти тщетные усилия и страстные стремления – мои слабые стороны, которые я показываю вам. Грамматика всюду слаба, а местами ужасающа. С художественной стороны вся шкатулка отвратительна… Посылая вам эти вещи, я совершаю самый храбрый поступок во всей моей жизни.

Знаете ли вы, что я становлюсь нервным и чувствительным, как женщина? Мне надо уйти, надо расправить крылья, или я превращусь в ненужный обломок. Я становлюсь застенчив, слышите, застенчив! Это надо прекратить.

Думаю о переезде. В теперешней квартире становится слишком тесно… Но какое беспокойство, смятение, какая трата времени!..

…Относительно коробки: пожалуйста, сберегите содержимое! И, пожалуйста, не спутайте! Целые месяцы не писал стихов. То, что вы видите, – только эксперименты… они неудачны, но все же я не сдаюсь. Когда-нибудь, когда я буду материально обеспечен, я снова примусь за стихи, если только не опроституирую себя так, что уж не будет искупления.

Сейчас переучиваюсь писать. Когда вы обнаружите столько же ошибок и все-таки ничего не достигнете, тогда придет время сказать, что вы не можете писать. Сейчас вы не имеете права сказать это. Если же говорите это – значит, вы трус. Лучше не начинайте, если боитесь, работы, работы, работы и рано и поздно, беспрестанно, всегда…»

3 апреля 1900 года.

«Дорогой Клаудеслей!

Сейчас насмешу вас до смерти. Вы заметите, что я переехал. Хорошо! В следующую субботу я женюсь. Еще лучше? А? Извещение о похоронах пришлю позже.

Джек Лондон».

Мистер Джонс известил о получении этого письма крайне лаконично. Ответ состоял из двух слов с инициалами посредине и восклицательного знака в конце. С той же почтой было послано и то письмо к моей тете, о котором я упоминала в предисловии.

Все произошло, по-видимому, оттого, что на старой квартире было слишком тесно. Джек решил переехать с матерью и племянником в хорошенький двухэтажный коттедж с садом. Елизавета Мадерн пришла помочь Элизе в уборке. Джек лежал на полу и читал книгу, в то время как сестра и ее подруга расставляли на полке его маленькую библиотеку. Элиза случайно заметила, что Джек, приподнявшись на локте, пристально следит за движениями мисс Мадерн. Она с болью в сердце угадала, что должно произойти, но решила молчать. В тот же вечер Джек убедил девушку в разумности их брака и получил ее согласие. На следующее утро он ворвался к сестре и без всяких подготовлений сообщил о своей женитьбе. Элиза ни словом, ни жестом не выдала своих чувств. Она поздравила брата и согласилась предупредить мать. Флора Лондон, радовавшаяся тому, что наконец-то будет хозяйкой хорошенького домика, отнеслась к новости о появлении заместительницы без всякого энтузиазма. Вообще весь план, выработанный Джеком, сошел не так гладко, как он ожидал. Через три месяца после возвращения молодых из свадебного путешествия той же Элизе пришлось помогать при переезде Флоры Лондон на другую квартиру. Между братом и сестрой не произошло никаких объяснений.

Элиза взглянула на его осунувшееся лицо, на сжатый рот и пришла на помощь осторожно, без лишних слов, стараясь не обострять враждебности.

Клаудеслей, по получении печатного извещения, прислал Джеку следующее письмо:

«Дорогой Джек! Могу я отложить свои поздравления вам и вашей супруге на десять лет? Надеюсь, что тогда я смогу принести их вам. В четверг, 7 апреля 1910 года – не забудьте: постарайтесь дождаться их».

В это же время Джек и Анна решили начать совместную работу и в форме писем высказать свои противоположные взгляды на любовь[9].

4 февраля 1901 года.

«Дорогой Клаудеслей! Не умер, но в спешке, как всегда… Я так страстно и так долго мечтал об отцовстве, что казалось, это счастье мне недоступно. Но оно есть. И какой чудесный и здоровый ребенок! Весил девять с половиной фунтов. Говорят, что для девочки это очень хорошо. До сих пор обнаружил хороший желудок и отсутствие каких бы то ни было болезней. Только и делает, что спит. Иногда лежит целый час, не спит и не пищит. Хочу назвать ее Джоан. Напишите, как это вам нравится и какие вызывает ассоциации?»

1 апреля 1901 года.

«Дорогой Клаудеслей! Роман, наконец, закончен, и я очень рад… Я послал четыре триолета (единственные четыре, написанные мною) в «Тоун Топик». Приняли один, три вернули. Позднее я опять послал один триолет. Они приняли. Еще позднее я послал еще один. Приняли. Но от четвертого отказались… Во всяком случае… поезжайте куда-нибудь и живите в центре явлений. В наши дни нельзя делать что бы то ни было, будучи изолированным.

---

[9] Книга была названа «Письма Кемптона Уэсса».

Изберите какой-нибудь большой город, погрузитесь в него, живите, встречайтесь с людьми, с явлениями. Если вы верите, что человек – создание среды, вы не можете оставаться за пределами событий».

3 апреля 1901 года.

«Дорогая Анна! Разве я сказал, что людей можно разделить на категории? Хорошо. Если я это сказал, то разрешите добавить – не всех людей. Вы ускользаете от меня. Я не могу классифицировать вас, не могу уловить вас. Я могу похвалиться этим в девяти случаях из десяти, я могу предсказать действия девяти из десяти по их словам и поступкам, я могу почувствовать, как бьется их сердце. Но с десятым я отказываюсь. Вы десятая.

Были ли когда две души, более нелепо связанные? Мы можем одинаково чувствовать, и это бывает с нами даже очень часто, а если не чувствуем одинаково, то понимаем друг друга – и все же у нас нет общего языка. Мы не находим слов. Мы непонятны друг для друга. Бог, наверное, смеется над этой комедией.

Разве вы понимаете меня сейчас? Не знаю. Мне кажется, нет. Я не могу найти общего языка.

Большой темперамент, вот что роднит нас… Я улыбаюсь, когда вы приходите в энтузиазм. Это улыбка снисхождения, нет, почти зависти. Я прожил под гнетом двадцать пять лет. Я учился не быть энтузиастом. Такой урок трудно забыть. Я начинаю забывать, но понемногу. В лучшем случае, я забуду, может, перед смертью, но не все, и даже не очень много. Теперь, когда я учусь, я могу ликовать по поводу мелочей, но по поводу своего тайного не могу, не могу!.. Понятен ли я? Слышите ли вы мой голос? Боюсь, что нет. Ведь есть же позеры. И я самый удачливый из них».

Письмо не датировано.

«Дорогая Анна! Ваше письмо прекрасное, тонкое и прекрасное дополнение к нашей книге. («Письма Кемптона Уэсса». – *Ч. Л.)* Очень хотелось бы видеть его в печати… Ваше письмо призвало меня к работе и вызвало попытку написать заново первое письмо. Я провел над ними два дня в упорной работе… Я никогда не подозревал, до чего плохи мои первые письма; теперь я это знаю…»

Письмо не датировано.

«…Нашел письмо № 2 и взываю к пощаде, взываю к тому чувству, которое владело вами, когда вы писали мне. Не знаю, что делать с ним. Чувствую, что все не так, что я не строю характера как надо и даже не пишу письма так, как надо писать. Но я думаю, что это придет со временем. Во всяком случае, это хороший способ составить себе ясное представление о собственных возможностях… И прошу вас – критикуйте беспощадно, особенно ошибки вкуса».

В статье, написанной после смерти Джека Лондона, Анна Струнская, вспоминая об этом периоде совместной работы, говорит:

«Он утверждал, что любовь – западня, поставленная природой для отдельной личности. Надо жениться не по любви, а по особым качествам, определяемым разумом. Он защищает эту мысль в «Письмах Кемптона Уэсса», защищает блестяще и страстно, так страстно, что заставляет сомневаться, был ли он так уверен в своей позиции, как хотел казаться».

Глава седьмая. Поездка в Европу (1902–1903)

Весной 1902 года я возобновила знакомство с Лондонами и стала бывать у них. В то время они жили в Пьемонте, в старом бунгало на высоком холме, поросшем соснами и эвкалиптами, с громадным полем оранжевых маков, тянущимся на запад, к синей бухте и еще более синему морю. Этот дом ближе всего подходил к идеальному дому, как его представлял себе Джек. Тут же, в отдельном маленьком коттедже, жила и Флора Лондон с маленьким Джонни.

Раз в неделю к обеду и на вечер собирались друзья. В остальные дни Джека не разрешалось отрывать от работы. Все – и дело, и развлечение – было подчинено строгой дисциплине. «Я апостол правильной работы, – говорил Джек, – я никогда не жду вдохновения. По темпераменту я небрежен, неточен, даже меланхоличен. Но я поборол это. Морская дисциплина оказала на меня свое действие. Может быть, правильность и краткость моего сна также следует приписать прежним дням на море. Пять с половиной часов – вот средняя норма, и никакие обстоятельства жизни не могут удержать меня в бодром состоянии, когда пришло время спать».

Что касается домашнего устройства, то он неизменно повторял одно и то же: «Если мало прислуги, возьмите еще. Наши дела хороши. Тяжелые дни миновали. Делайте все, что нужно, но чтобы в мои четверги у нас был хороший, гостеприимный стол».

Эти четверги навсегда останутся в памяти у тех счастливцев, которым довелось побывать на них. Они были наполнены играми, музыкой, чтением, спортом, и никто не мог превзойти Джека в веселье и жизнерадостности. То он учил всех боксировать, то читал веселые рассказы и катался по полу от смеха, то сражался с молодежью и бомбардировал барышень

помидорами, а потом удирал от разъяренной стаи, то катал нас на своей шлюпке «Спрей».

Однако, несмотря на то что он достиг, хоть и не совсем того, о чем мечтал, но все же желательного ему устройства жизни, несмотря на то что он женился по своему выбору и удовлетворил свою потребность в детях, он не был счастлив. Правда, об этом могли догадаться лишь самые близкие друзья; он не выдавал себя ни единым словом и только в письмах к Анне и Клаудеслею иногда приоткрывал душу.

5 января он писал Анне Струнской:

«Вы оглядываетесь на истекший год волнений и банкротства. Я тоже. И для меня Новый год начался неприятностями, заботами и разочарованиями. А для вас?»

14 марта.

«…Сейчас приступил к чтению «Фомы Гордеева». Вы читали? Я приберегу, чтобы вы прочли прежде всех, если еще не читали. Это замечательная книга. Я хотел бы разрешить себе отдых на целый день, чтобы не приступать к ней таким, как сейчас – усталым, измученным».

3 июля.

«…Я, как всегда, поглощен писаньем. За три месяца я немного отстал в работе и поклялся страшной клятвой наверстать. Вчера работал восемнадцать часов и сделал довольно много. То же самое позавчера, и т. д. и т. д.».

В то лето, по выражению Анны, работал напряженно: «до жалости, до трагизма». Приблизительно в середине июля пришло предложение от Американского Союза Печати отправиться в Южную Африку для того, чтобы написать серию статей о бурской войне и политическом и промышленном состоянии британских колоний. Джек принял предложение с восторгом и только перспектива разлуки с Джоан омрачала

его радость. По получении телеграммы он сейчас же отправился в Нью-Йорк, но там узнал, что бурские генералы отплыли в Англию. Это несколько изменило его планы, и он решил последовать за ними, чтобы повидать и проинтервьюировать их.

31 июля. Пароход «Мажестик».

«Дорогая Анна… Вчера в полночь отплыл из Нью-Йорка. Через неделю буду в Лондоне. Там посвящу два дня хлопотам, а затем исчезну из вида…

25 августа. Анне.

«В субботу провел всю ночь с бездомными, ходил по улицам под проливным дождем, промок до костей, ожидая, когда же наконец наступит рассвет. Воскресенье провел с бездомными, в дикой погоне за чем-нибудь съестным. Вернулся в свою комнату после тридцати шести часов беспрерывной работы и одной короткой ночи сна. Целый день составлял, писал и пересматривал четыре тысячи слов. Только что кончил. Сейчас час. Я истрепан, измучен, мои нервы притуплены всем, что я видел, и теми страданьями, которых мне это стоило. Я болен от этого человеческого ада, именуемого Вест-Эндом».

К концу сентября, приблизительно в течение семи недель он пережил свою книгу, написал ее, снял фотографии для иллюстраций, ознакомился с работой некоторых английских издательств и приготовился к поездке на континент.

Джек погрузился целиком в описание лондонского Вест-Энда, вложил в него все свое сердце, посвятил ему все свое драгоценное время, как бы отрицая свою постоянную мысль о долларах. Он писал с полной уверенностью, что не получит за это денег, что ни один буржуазный журнал, имеющий возможность дать настоящую цену за этот человеческий документ, не захочет рисковать своей репутацией, опубликовывая такую неприятную правду. «Люди бездны»

появились сначала в одном социалистическом ежемесячнике, где, конечно, много платить не могли.

Окончив книгу, Джек отправился на континент, побывал в Париже, в Италии. Он пробыл бы там и дольше, если бы не получил телеграммы, извещавшей его о рождении второго ребенка, дочери Бесс, что и заставило его немедленно пуститься в обратный путь.

Осенью 1902 года вышли три его книги в трех разных изданиях: «Дети Мороза» – изд. Макмиллан; «Плаванье на «Ослепительном» – изд. Сенчюри; «Дочь снегов» – изд. Липпинкот. В общем, у него было уже пять книг и, кроме того, материала на столько же.

По возвращении из Европы Джек решил посвятить себя воспитанию детей, убеждая себя, что все у него обстоит благополучно. Об этом свидетельствует письмо, написанное Клаудеслею 27 января 1903 года.

«Я думаю, пришла пора для ваших столь долго откладываемых поздравлений по поводу моей женитьбы. Итак, валяйте. Или приезжайте взглянуть на нас и на ребят, тогда и поздравите».

Четверги были возобновлены, люди приходили и уходили, журналисты ездили за тысячи миль интервьюировать восходящее светило, но молодой супруг и отец не был счастлив и вел постоянно проигрываемую борьбу, чтобы не отказаться от принятых решений. В это время он начал писать книгу, которой суждено было впоследствии быть принятой в университетах как классическое произведение английской литературы: это «Зов предков». Тогда же Джек начал собирать материалы для большого романа «Морской волк». Так как денег не было, а жить надо было, Джек, не колеблясь, продал «Зов предков» Макмиллану со всеми авторскими правами за две тысячи долларов. Эта книга принесла большие деньги всем, кроме автора. Но Джек всегда утверждал,

что он только выиграл от этой сделки, так как Макмилланы устроили ему громадную рекламу, стоившую больших денег.

Между тем близкие друзья вскоре почувствовали что-то неладное в Лондонском бунгало. Они были бы еще больше поражены, если бы узнали, что Джек с некоторых пор избегал спать в одной комнате со своим старым ружьем, боясь, чтобы оно не попалось ему под руку в минуту пробуждения от тяжелого сна. Конечно, такой энергичный, сильный человек, как Джек, не мог долго мучиться в подобном состоянии. И странное совпадение: его окончательное отступление совпало с выходом в свет «Писем Кемптона Уэсса», как бы указывавших на обманчивость его столь хваленой когда-то программы.

Джек принял непоколебимое решение: как только он сможет обеспечить семье приличное существование, он будет жить отдельно и навещать детей. Нелегко далось ему это решение. Он глубоко любил детей и тяжело расплачивался за ошибку, совершенную в молодости. Временами он сомневался, сможет ли выполнить то, что взял на себя. Но жажда свободы пересилила все.

Джек перебрался в хорошенькую квартирку из пяти комнат в Окленде и поселил там мать и Джонни. Жена и дети поселились неподалеку.

О том, как тяжело дался Джеку разрыв с женой, видно из следующего письма:

«Дорогой Клаудеслей! Отложил работу по договору и работаю для наличных, чтобы уплатить часть долгов. Не знаю, как управлюсь с работой в целый год. Мне смешно вспомнить, каким я был лицемером, когда писал вам из бунгало, торопя вас с отложенными поздравлениями по поводу женитьбы… Может быть, мужчина и может иногда жениться, как философ, но это дьявольски тяжело для женщины».

Глава восьмая. Русско-японская война. Весна 1904 г.

В январе 1904 года возникли первые разговоры о возможности войны между Россией и Японией. Джек Лондон, заканчивавший морской роман и, как всегда, нуждавшийся в деньгах, принял предложение «Экзаминера» отправиться корреспондентом в Японию. Он спешно закончил книгу, устроил свои денежные дела так, чтобы жена и дети получали твердое месячное содержание, и 7 января отплыл в Иокогаму на пароходе «Сибериа» в обществе нескольких американских и английских корреспондентов.

Отправляясь в Японию, он взял с собой маленький «Кодак», которому и принадлежала честь первому снабдить американскую публику военными снимками. Этот аппарат причинил Джеку много хлопот.

Вот его письма ко мне:

«Сибериа». 13 января 1904 года.

«…Несколько слаб и подавлен, но креплюсь. Явился сюда с великолепнейшим гриппом. Конечно, в постель не ложился, а просидел в пароходном кресле, причем первый день – в полубессознательном состоянии. Ах, как ноют мои кости еще и теперь! И какие ужасные сны!

«Сибериа». 15 января 1904 года.

«Итак, мы отплыли вчера из Гонолулу…[10] Все еще мучаюсь гриппом, но поправляюсь. Во время прилива плавал в Уайкики. Был в концерте в «Гавайском Отеле» и вообще развлекался.

Нашел себе забаву: играл в карты с китайцами – кочегарами «Сиберии», в двадцать пять минут три раза сорвал банк и выиграл 14 долларов 85 центов. Видите, я нашел себе новую карьеру!

---

[10] Главный город и порт на Гавайских островах, в Тихом океане.

Военные корреспонденты – «ястребы» – приятный народ. Мы все собираемся вокруг капитанского стола, потому что список пассажиров сильно уменьшился, целая куча народа сошла в Гонолулу. Да, до Гонолулу с нами плыли три пары молодоженов, которые сидели на верхнем конце стола. Это смешное письмо. Корреспонденты критикуют меня и только что высмеяли меня окончательно».

«Сибериа». 20 января 1904 года.

«Давно не писал вам. Вы, наверно, удивляетесь, почему. Так знайте же – я счастливейший из всех несчастных людей. В тот день, как мы вышли в Гонолулу, вечером я повредил левую лодыжку. Я пролежал на спине шестьдесят пять приятных часов. Вчера выехал на палубу на спине одного английского корреспондента. Сегодня меня опять вынесли на палубу. Поврежденная лодыжка – это несчастье; счастье же… это – куча друзей, которых я, по-видимому, приобрел. С шести утра и до одиннадцати ночи в моей каюте непрерывно находилось не менее одного посетителя. Большею частью же были три, четыре и иногда вдвое больше. Когда произошло несчастье, я подумал, что теперь-то у меня будет достаточно времени для чтения, но меня не оставляли одного, и я не мог прочесть ни строчки.

С интересом ожидаю шестого дня, когда – если только хирург не изменит своего мнения – я смогу поставить ногу на палубу и попытаться ходить на костылях.

Вы, конечно, захотите знать, в чем состоит повреждение. Я прыгал с вышины трех с половиной футов. И так как я прыгнул с правой ноги, то наступил на левую. Но левая нога не попала на палубу. Она попала на круглый брусок и пошла вдоль бруска. Брусок диаметром в ручку от щетки. Конечно, нога последовала за ступней. Лодыжка вывихнута с одной стороны и вытянута с другой. То есть связки с внутренней стороны натянулись и порвались, кости с внешней стороны были сдавлены и ущемили нервы – в результате невыносимая комбинация.

Теперь у меня две больных лодыжки. Боюсь, что я начинаю стареть. Оба колена были разбиты раньше, а теперь и обе лодыжки. Конечно, могло быть хуже. Меня огорчает сейчас то, что я не знаю,

насколько плохо обстоит дело с этой лодыжкой. Лечение состоит в абсолютном покое и несменяемой повязке, так что и сам хирург ничего не будет знать, пока я не попытаюсь встать…

Не огорчайтесь, что я выдал огорчение в этом письме. Во всяком случае, я смогу еще раз написать вам позднее, до приезда в Иокогаму, и дам вам знать. Надеюсь, что известия будут хорошие».

«Сибериа». 21 января 1904 года.

«Если бы вы меня сегодня видели! Ковыляю на костылях, как калека. Пока еще не могу стоять на больной ноге, но надеюсь, что к приезду в Иокогаму[11] смогу ходить. Сегодня четверг, а мы рассчитываем приехать в понедельник утром. Надеюсь, что войну не объявят раньше, чем через месяц по приезде моем в Японию, чтобы моя лодыжка имела возможность окрепнуть.

Все очень добры ко мне, и я бы сказал, что почти утомлен, – так за мной ухаживают…»

Четверг 28 января 1904 года.

«Сможете ли вы прочесть это? Поезд качает, а температура в вагоне 40. Я сейчас в экспрессе, идущем в Кобе[12], где 31 января – если не раньше – рассчитываю попасть на пароход, отправляющийся в Корею. Я еду в столицу Сеул. Был очень занят в Иокогаме и Токио».

29 января 1904 года.

«Посмотрели бы вы, как я сегодня выбирался из Кобе со своим багажом на трех рикшах, с подталкивающими и подпихивающими мальчишками и всем остальным, и как я гнал, чтобы попасть на экспресс, идущий в Нагасаки. Из Кобе не будет парохода до 3 февраля, и я отправлюсь попытать счастье в Нагасаки. Двадцать два часа езды, и нет спальных вагонов. Погода здесь теплее. В Иокогаме было страшно холодно.

---

[11] Иокогама – порт на берегу бухты Токио на острове Нипон, в Японии.

[12] Кобе – город, лежащий на южном берегу о. Нипон. Нагасаки – портовый город в западной части о. Киу-Шиу.

Если я не пишу о войне, то знайте, что существует цензура: и телеграммы, и тому подобное задерживаются…»

Шимоносеки. 3 февраля 1904 года.

«Все еще пытаюсь отплыть в Шемулпо[13]. Совершил обратное однодневное путешествие из Нагасаки в Моджи, чтобы застать пароход 1 февраля (понедельник), купил билет, вышел на улицу и сфотографировал три уличных сценки. Но Моджи на военном положении. Японская полиция – «очень жаль», но все же она арестовала меня. Конечно, я упустил пароход. «Очень жаль», но они отвезли меня в понедельник ночью в город Кокуру. Снова допрашивали. Держали под арестом. Во вторник судили. Оправдали. Конфисковали найденные пять иен и фотографический аппарат. Телеграфировал американскому послу в Токио. Теперь он старается вернуть аппарат.

Вчера вечером принимал депутацию от японских газетных корреспондентов этой области. Предлагали свои услуги. И опять «очень жаль». Они – мои собратья по ремеслу. Сегодня они будут ходатайствовать перед судьями (трое судей в черных колпаках) о том, чтобы сняли запрет с аппарата. Тогда они поднесут мне его со своими поздравлениями. Правда, они сами сказали, что это «маловероятно».

Надеюсь отправиться в Шемулпо 6-го или 7-го».

В джонке. На корейском побережье. 9 февраля 1904 года.

«Самое невероятное и замечательное предприятие. Если бы вы видели меня сейчас: я капитан джонки, с экипажем, состоящим из трех корейцев, которые не говорят ни по-английски, ни по-японски, и пять японцев (отставших пассажиров), которые не говорят ни по-английски, ни по-корейски. Только один знает дюжины две английских слов. И с этими-то полиглотами мне придется проплыть много сотен миль вдоль Корейского побережья до Шемулпо.

Как это произошло? Я должен был отплыть в Шемулпо в понедельник, 8 февраля, на «Киего Мару». В субботу, 6-го, вернувшись

---

[13] Шемулпо (Чемульпо) – порт на западном берегу Кореи, в Желтом море.

вечером из Кокуры (где мне вернули аппарат) в Шимоносеки, я узнал, что «Киего Мару» задержан японским правительством. Узнал также, что многие японские военные суда прошли через пролив, что солдаты были вызваны среди ночи и направлены по полкам.

…Я попал на маленький пароходик, отправлявшийся в Фузан. Пришлось ехать в третьем классе. Это туземный пароход, и пищи для белых людей нет даже в буфете первого класса. А спать пришлось на палубе. Пробираясь на пароход на баркасе, выронил за борт один из чемоданов, но спас его. Промок сам и промочил свой багаж, переезжая Японское море. В Фузане пересел на маленький стодвадцатитонный пароход, полный корейцев и японцев, с палубой, нагруженной до самого неба, отправлявшийся в Шемулпо. Но сегодня утром и пассажиры и груз были удалены на берег, так как пароход понадобился японскому правительству. Прошлую ночь мы плыли в сопровождении двух торпедных лодок.

Утром, когда нас выкинули, я нанял эту джонку, взял с собой пять пассажиров-японцев и очутился здесь, на пути в Шемулпо. Это самая трудная работа, за которую я когда-либо брался. Уже несколько дней не имею никаких новостей, не знаю, объявлена ли война, и не узнаю об этом, пока не попаду в Шемулпо, или, может быть, в Кун-Сан, где оставлю своих пассажиров. Господи, как бы я хотел досыта наговориться с белым человеком! Не очень-то приятно работать, имея в распоряжении двадцать четыре слова и жесты».

Четверг, 11 февраля 1904 года.

«Я на другой джонке. Еще более необычайно. Вчера добрались до подветренного берега. Ветер ревет над Желтым морем. День и ночь плыли в Кун-Сан. Если бы вы видели, как мы лавировали: один человек у румпеля, по одному у каждого паруса, четыре перепуганных японца, и пятый, настолько больной морской болезнью, что не в силах даже бояться. К счастью, мы справились, иначе вы не прочли бы этих строк…

Добрались до Кун-Сана к ночи, после того, как потеряли мачту и сломали руль. Прибыли под проливным дождем, режущим, как нож. А затем поглядели бы вы, как комфортно я устроился на ночь,

причем пять японских девушек помогали мне раздеться, выкупаться и лечь в постель. Я в это время принимал посетителей (моих посетителей) – и мужчин, и женщин. А девушки делали замечания по поводу моей белой кожи и т. п. Сегодня утром – то же самое. Майор Кун-Сан, начальник полиции, и важные граждане посещали меня в спальне, в то время как я брился, умывался, одевался и ел.

И все самые важные граждане города пришли взглянуть на меня и приветствовать меня и без конца кричали: «Сайонара».

Новая джонка, управляемая пятью японцами, из которых ни один не знает ни одного английского слова, плывет по воле ветра вдоль корейского побережья. Уже много времени ничего не знаю о белых. Слышал, как туземцы говорили о морских сражениях, о проходе войск, но ничего такого, что можно бы принять без сомнений. Когда я попаду в Шемулпо, я буду знать, чего мне держаться.

Может быть, вы думаете, что в этой джонке не холодно? Земля покрыта снегом, и местами снег спускается к воде. И нет печей, чтобы согреться, только грелки для древесного угля, и в них несколько маленьких угольков. И посмеяться-то не над чем! Рядом со мной стоит такая грелка, я купил ее за двенадцать с половиной центов у корейца в деревне, где мы останавливались».

Суббота, 13 февраля 1904 года.

«Еще более невероятно, но нельзя сказать, чтобы замечательно, если не считать замечательными ландшафты и морские виды, которые проглядывают сквозь падающий снег… Я никогда не думал, что сампан (закрытая ветхая лодка) может проделать то, что мы проделали. Буря и снег – можете себе представить, до чего холодно! Но я рад, что со мной матросы-японцы. Они смелее, хладнокровнее и отважнее корейцев… Я почти ослеп от головной боли, которая началась у меня еще в Кун-Сане и все усиливается; так что я не особенно обращаю внимание на окружающее. Все же я понимаю, что когда мы дрейфовали, я снял пальто и расшнуровал башмаки. Ни на минуту не сомневался, что придется спасать аппарат.

Мы проделали это наполовину в воде, но проделали! Может быть, ветер выл и не всю ночь. Так холодно, что замерзла даже соленая вода.

Все бы это ничего, если бы не лодыжка. Обычно я берег правую ногу и опирался на левую, но теперь, когда левая изувечена еще хуже, чем правая, – представляете себе, как мне приходится быть осторожным там, где невозможно быть осторожным – в такой ветхой лодчонке и при такой суровой погоде. Но пока я избежал опасных вывихов.

Джонки совсем старые – лохмотья, рвань, гниль. Как они плавают на них? Это просто чудо».

Понедельник, 15 февраля.

«Мы ждали в течение четырех часов. Через четыре часа пришел ветер с севера. Всю ночь было ужасное волнение. Я чуть не сошел с ума от головной боли.

В четыре часа утра под падающим снегом переменили якорную стоянку. Рассвет был суровый. В 8 утра поставили паруса и отправились искать убежище. Мои матросы привыкли к суровой жизни, но мы пристали возле рыбацкой деревушки, где жизнь еще более сурова. Здесь мы провели воскресенье, причем ночью мои пять матросов, я и около двадцати мужчин, женщин и детей спали все в одной комнате, в лачуге, где пол был величиной с двухспальную кровать.

Мое заграничное питание пришло к концу, и я вынужден был приняться за туземную еду. Надеюсь, мой желудок простит мне, что я понадеялся на него. Мерзость и грязь неописуемые, и самое ужасное то, что я при каждом глотке не могу не думать об этой грязи и мерзости. В некоторых деревнях здесь я первый белый человек – редкостное явление. В полночь я показал одному старику свои фальшивые зубы. Он разбудил весь дом. Должно быть, я испортил ему сон, потому что в три часа утра он подполз ко мне, разбудил меня и попросил показать еще разок.

Сегодня утром пустились в путь – в Шемулпо. Надеюсь, что не упаду мертвым по прибытии. Земля вся покрыта снегом. Какой суровый, дикий берег!»

В Шемулпо Джек встретил двух корреспондентов, которые опередили его. Один из них, встречавший Джека и раньше, теперь не узнал его – до того он изменился. Он был обветренный,

больной, осунувшийся, скрюченный. В Шемулпо Джек впервые узнал, что война объявлена пять дней назад.

21 февраля, Сеул. «Гранд Отель».

«Через пять минут отбываю на север. Чуть не сошел с ума от хлопот со снаряжением и выходом в путь:

3 вьючных пони, 2 верховых лошади, 1 переводчик (японец), 1 повар (кореец) и 2 мапуа (корейские грумы)».

Джек был последним корреспондентом, попавшим в Сеул, но первым на фронте. Так как в Сеуле, по-видимому, относительно него не было никаких распоряжений, Джек, не теряя ни минуты, направился на север. Но когда он добрался до Сунана, то есть почти к месту военных действий, его отправили обратно в Сеул.

Пинг-Йанг. 4 марта 1904 года.

«Сделал сто восемьдесят миль верхом. Теперь смогу ездить с вами, когда вернусь, потому что мне еще предстоят целые месяцы верховой езды. У меня одна из лучших лошадей в Корее – принадлежала русскому послу в Сеуле до его отъезда».

Пораль-Колли. 8 марта 1904 года.

«Как образчик моих дней, привожу сегодняшний. Генерал Сасаки запретил мне выезжать из Пинг-Йанга. Убеждал его через переводчика. Досада на промедление сводит меня с ума. Я должен был уехать в 7 утра. Только начал нагружать вьючных лошадей, как был вызван к японскому консулу. Опять переводчик, смятение, потом удачный маневр, и к концу дня мне удалось выехать.

Приехал в эту затерянную деревню. Население перепугано до смерти. Здесь уже побывали и русские и японские солдаты. Мы только добавили последний штрих. Они клялись, что у них нет для нас ни помещения, ни топлива, ни угля, ни корма для лошадей, ни конюшен; мы штурмовали деревню, силой заняли конюшню и нашли ячмень, спрятанный в штанах».

9 марта 1904 года.

«И вот мы здесь. Нас остановили и задержали. А телеграф между нами, Пинг-Йангом и Сеулом работает вовсю. Я говорю задержаны, задержаны японскими солдатами, которые не желают пропускать нас на север, в Анджу…

В то время как я пишу, тысячи солдат проходят через деревню мимо моих дверей. Мои люди усердно тащат у армии пропитание для себя и для лошадей. Пони, саперы, вьючные лошади Красного Креста, нагруженные припасами и продовольствием, проходят мимо. Капитаны заходят, оставляют карточку, пожимают руку, потом уходят…

Чрезвычайно важно!!! Новая неприятность!!!

Только что поймал пять вшей на сорочке. То есть я заметил их, Маниунги (кореец – повар и переводчик) поймал их в то время, как переводил мне приглашение одного корейского дворянина, предлагавшего мне перейти на лучшую квартиру. Вши чуть не свели меня с ума. Я все время чешусь…

Перерыв. Лошади, помещающиеся в десяти футах от меня, подняли страшный переполох. Лягают, кусают, топчут мою Беллу и трех других лошадей. А между тем сейчас сломанные ноги вовсе не кстати. Я думаю застраховать свою жизнь.

А войска все проходят, лошади дерутся, конюхи, переводчик и повар перебраниваются в четырех футах от меня. Холодно. Пора закрывать двери и зажигать свечи.

Только что прошла семья корейских беженцев. Несут весь свой скарб на собственных спинах…

«Японское консульство мистеру Джеку Лондону.

Сэр! Имею честь известить вас, что вы должны оставаться здесь, пока войска генерал-майора Сасаки не пройдут на север.

Подписано: *С. Чинджо.* Японский консул».

Это один из многочисленных, полученных мною, приказов. Он был написан вчера в Пинг-Ианге, а сейчас я уже нахожусь дальше на севере, впереди генерала Сасаки. Если бы я послушался первого приказа, я сидел бы сейчас в Токио, где сидят пятьдесят других корреспондентов. Конечно, я готов к тому, что меня могут каждое

мгновение задержать и отправить назад в Пинг-Йанг. Но это входит в игру. Я – единственный корреспондент, ушедший так далеко… В Пинг-Йанге есть еще два корреспондента – и, кроме нас, в Корее корреспондентов нет».

Сеул. 29 марта 1904 года.

«Я снова в Сеуле. Ни один корреспондент не допускается на фронт. Всех задерживают японцы. В этом смысле с нами обращаются ужасно… Я решил, что пробуду в отсутствии не больше года. Как только пройдет десять месяцев со дня моего отъезда из Сан-Франциско, я буду телеграфировать Херсту, чтобы он прислал кого-нибудь другого на мое место на фронт, если только я попаду на фронт к тому времени… Военной корреспонденции вообще не существует, японцы не позволяют нам увидеть войну».

Сеул. 5 апреля.

«Я учусь, я учусь! У меня никогда не было времени научиться играть на бильярде: теперь я учусь. У меня никогда не было времени на танцы, но если эта война продолжится, я научусь и танцевать. Здесь не танцуют только миссионеры и кресанги (корейские танцовщицы), потому что мать императора умерла и двор в трауре. Завтра вечером я буду читать «Зов предков» перед иностранными жителями; буду читать в вечернем костюме. Это обычай страны, и мне пришлось подчиниться. В Японии необходимо иметь сюртук и цилиндр… Если Япония победит, японцы так заважничают, что белым нельзя будет жить в Японии…».

Штаб 1-й японской армии.
Ванг-Ченг. Маньчжурия, 22 мая.

«Мое сердце не склонно к писанию в эти дни. Оно может только рыдать, потому что мне омерзело все мое пребывание здесь. Война? Вздор. Давайте лучше я опишу вам мою ежедневную жизнь.

Я живу среди великолепных сосен на великолепном склоне холма. Рядом храм. Чудесная летняя погода. Рано утром я просыпаюсь под пение птиц. Кричат кукушки. В 6. 30 я бреюсь. Маниунги, мой корейский слуга, готовит завтрак и поджидает меня. Сакаи, мой переводчик, чистит мне сапоги и ждет инструкций. Йен-Хи-Ки,

китаец, тоже что-нибудь делает. Сеидский мапу помогает готовить завтрак и убирать. Мой пинг-йангский мапу кормит лошадей. В 7 я завтракаю. Затем пытаюсь выжать что-нибудь для «Экзаминера». Иногда выхожу, делаю снимки, которые не могу послать, так как цензор не пропускает непроявленных снимков, а у меня нет ничего необходимого для проявления. Я свободен и могу ехать верхом в штаб в Фенг-Ванг-Ченге – меньше чем в миле отсюда. Затем я могу ездить вокруг города по радиусу немногим больше мили. Никогда, ни на одной войне с корреспондентами не обращались так, как сейчас. Это смешно, абсурдно, это ребячество, комедия. Днем мы (корреспонденты) отправляемся плавать в прекрасном озере – прозрачная вода глубиной выше головы. Вечером у костра проклинаем Бога, судьбу и разные народы, и разные вещи, о которых не буду упоминать ради цензора. И день окончен.

Омерзение, полное омерзение!»

Пребывание Джека Лондона в Японии закончилось эпизодом, который, как бы ни был незначителен сам по себе, чуть было не привел к печальным результатам. Его японский слуга поссорился с каким-то японским мапу, воровавшим у них продукты. Джек вмешался и, выведенный из себя, ударил вора. «Боже мой, Боже мой, – рассказывал Джек, – я даже не ударил его, я только остановил его кулаком. Он сразу наткнулся на мой кулак и с воем упал на землю. И потом две недели хныкал и расхаживал в бинтах». Дело приняло плохой оборот. Джека вызвали к начальнику штаба, генералу Фуджи, и, если бы остальные шесть корреспондентов не вступились, твердо решив или спасти Джека или разделить его участь, – неизвестно, чем бы все это окончилось. Но Джека удалось отстоять, и он благополучно отплыл домой.

Глава девятая. Возвращение. Развод

30 июня Джек, возвращавшийся из Иокогамы на пароходе «Корея», получил бумаги, уведомлявшие его о том, что против него возбуждено дело о раздельном сожительстве и о взыскании средств на существование и что истец наложил запрещение на его личное имущество и на его книги. Запрещение распространялось также на деньги, которые ему причитались от издательств, и на гонорар от «Экзаминера» за военные статьи. Но это было еще не самое худшее. В жалобе указывалось, как на основание развода, на его дорогого и преданного друга Анну Струнскую, и, конечно, как это всегда бывает в таких случаях, дело получило нежелательную огласку. Лицемерная капиталистическая пресса подняла крик и вой, как будто Джек Лондон был первым, ошибшимся в браке.

В конце концов первоначальная жалоба – длиннейшая, с самыми нелепыми обвинениями – была взята обратно, и в суде разбиралось только дело о полном разводе, а не о раздельном сожительстве. Соглашение по материальным вопросам было достигнуто без суда.

По окончании дела Джек засел за работу. Он сократил свой и без того краткий сон и работал ночи напролет, время от времени ударяя себя кулаком по голове, чтобы не заснуть. Ведь надо было подумать о доме для девочек. А тут еще умер муж мамми Дженни, и ему, помимо всего прочего, пришлось устраивать ее денежные дела.

Душевное состояние Джека было ужасно. Он впал в глубокое отчаяние. Его любовь к детям и тоска были так велики, что он – хотя и с ужасом – начал думать о том, чтобы вернуться, восстановить семью…

Весной появилась девятая книга Джека Лондона – новый сборник клондайкских рассказов «Вера в человека», а осенью вышел роман «Морской волк».

Критики шумно приветствовали «Морского волка», но почему-то большинство из них нашло, что это «мужская книга, книга, которую женщины не станут читать». Однако большой дамский журнал приобрел несколько тысяч экземпляров «Морского волка» как премию для подписчиц.

В этом же году была написана статья «Желтая опасность» (вошедшая в сборник «Революция») и небольшая повесть «Игра».

«Тку свою «Игру» понемногу, – писал мне Джек, – вы не подумали бы, как это трудно, если бы прочли ее. Я смотрю на нее как на неудачу, но какое это прекрасное упражнение для меня! Я все больше начинаю узнавать свои силы. Когда-нибудь я смогу управлять своими инструментами».

Джек любил эту повесть, потому что вообще любил честную борьбу между мужчинами. Он любовно, строчка за строчкой, создавал образ Женевьевы.

«Вы ни за что не угадаете, где я нашел оригинал для нее. Это продавщица в маленькой кондитерской в Лондоне. Никогда я не видел такой кожи – словно обрызганной светом, как розы Дюшес у вас на окне. Я обычно выпивал целые галлоны сладких напитков, чтобы иметь предлог сидеть в мрачном углу и робко смотреть ей в лицо, как глупый мальчишка. Мне никогда не хотелось дотронуться до нее. И в ее желтой головке не было ничего, о чем можно было бы поговорить. Это было просто увлечение красотой и хрупкостью английского цветка».

«Игра» была напечатана в нескольких номерах журнала «Метрополитен магазин». Джек оказался прав: это действительно была неудача, поскольку дело шло об американской публике. Читатели прислушивались к мнению критиков, а критики не поняли повести, упустили из виду основной ее мотив, ничего не зная и не желая знать о самой «Игре». Как иллюстрацию приведу письмо Джека, написанное 18 августа 1905 года издателю «Нью-Йорк Таймс»:

«Так как я заинтересован в жизненной игре и в умственных процессах моих собратьев-людей, я был несколько поражен одной особенностью в отзывах о моей боксерской повести «Игра». Эта особенность заключается в нападках на реалистическую сторону повести, в заподозревании тех жизненных фактов, которые выведены в этой повести. Тяжело приходится бедняге-писателю, описавшему то, что он видел собственными глазами или пережил на собственном опыте, когда его обвиняют в том, что все виденное и пережитое – нереально и невозможно.

Правда, в конце концов для меня это не ново. Я помню, как какой-то критик с Атлантического побережья, по-видимому, хорошо знакомый с морем, написал рецензию о моем романе «Морской волк». Этот критик высмеивал меня за то, что я послал одно из действующих лиц наверх поднять гафель-стеньги. Критик заявил, что никто не поднимается для того, чтобы поднять гафеля, и что он-то знает о чем говорит, потому что много раз видел, как их поднимали с палубы. А я совершил семимесячное плаванье и сам сотни раз поднимался и собственными руками натягивал шкоты и галсы у гафель-стеньги.

Но вернемся к «Игре». В рецензии, помещенной в «Нью-Йорк Сатэрдей таймс», так же критиковали мой реализм. Между тем я сомневаюсь, чтобы у критика был такой опыт в этих делах, как у меня. Я сомневаюсь в том, что он знает, что значит нокаутировать кого-нибудь или самому быть нокаутированным. Я приобрел этот опыт, и на основании этого опыта, а также на основании глубокого знания бокса вообще написал «Игру».

Цитирую критика из «Сатэрдей таймс»:

«Еще больше приходится сомневаться в том, что удар, нанесенный Понтом в подбородок Флемингу, мог отбросить последнего на обтянутый брезентом пол ринга с такой силой, чтобы размозжить ему череп, как это описывает мистер Лондон».

Все что я могу ответить – это то, что в клубе, описанном в моей повести, один молодой боксер действительно разбил себе голову именно этим способом. Этот молодой боксер работал в парусной мастерской и содержал братьев и сестер.

В заключение еще только одно слово. Я только что получил письмо от Джимми Бритта – чемпиона легкого веса. Он пишет, что особенно восхищается «Игрой» вследствие ее жизненной правдивости.

Искренно преданный Дж. Лондон».

Не успели просохнуть чернила на рукописи «Игры», как Джек уже принялся за материалы для следующего задуманного им романа – «Белый Клык».

В то время я вернулась из путешествия на Восток и вместе с тетей жила в Вэк Робин Лодже. Я предложила Джеку свои услуги по переписке его произведений. Он с радостью согласился. Таким образом я еще ближе познакомилась с его работой и замыслами. Он был, как всегда, страшно занят. Вечно спешил.

Теперь ко всем его прежним занятиям прибавилось еще публичное чтение. Он выступал в различных клубах и союзах, читал отрывки из своих произведений.

Среди писем, относящихся к этой эпохе, я нашла маленькую записку, в которой Джек излагает свою социалистическую позицию:

«Я социалист прежде всего потому, что рожден пролетарием и очень быстро открыл, что социализм – единственный выход для пролетариата. Во-вторых, перестав быть пролетарием и превратившись в паразита (художника-паразита, если вы ничего не имеете против такого выражения), я открыл, что социализм – единственный выход для искусства и для художника».

В январе 1905 года Джек получил приглашение от президента Калифорнийского университета прочесть лекцию студентам Гармоновской гимназии. Выбор темы предоставлялся Джеку. Надо думать, что если бы президент мог угадать, какую тему изберет Джек, и как он будет читать, и какой шум это вызовет в газетах, – он ни за что не пригласил бы Джека Лондона.

Джек начал свою лекцию следующими словами:

«Недавно я получил письмо. Оно было от одного человека из Аризоны. Оно начиналось словами: «Дорогой товарищ» и кончалось: «Ваш во имя революции». Я ответил на это письмо, и мое письмо тоже начиналось словами: «Дорогой товарищ» и кончалось словами: «Во имя революции».

Дальше шло самое пламенное обвинение существующего строя. Лекция заканчивалась словами: «Революция пришла. Останови ее, кто может!».

Эти слова были встречены взрывом аплодисментов. Но лекция заслужила ему славу отчаянного анархиста. Буржуазные газеты обрушились на Джека и на президента, пригласившего в университет такого яростного социалиста. На это президент ответил следующим образом:

«Нам нужен человек, а не тема. Я считаю, что для студентов крайне ценно видеть и слышать людей, доблестно работающих в самых разных областях. Я представляю их студентам, но никогда не назначаю темы. Джек Лондон – бывший студент университета, человек, стяжавший заслуженную славу на литературном поприще. Разве лучше было бы вывесить список тем, являющихся «табу»? Есть только один способ обращения с кипящим чайником. Это – поднять крышку».

Против Джека поднялась настоящая травля: его называли опасным социалистом, третьесортным писателем для «воскресных приложений», описывающим подонков общества, человеком, не признающим святости домашнего очага, анархистом, выступающим в ярко-красных фланелевых рубашках. Замечу кстати, что Джек неизменно при всех своих выступлениях был одет в черный пиджак и мягкую белую рубашку с мягким же свободным галстуком. Но почему-то насчет его костюма всегда циркулировали самые нелепые слухи, и даже социалисты Лос-Анджелеса, где Джек читал

лекцию на тему «Революция», помещая его фотографию, сочли нужным пририсовать к ней крахмальную сорочку и воротник.

Во время чтения в университете произошел забавный инцидент. Джек в своей пламенной обвинительной речи нападал на устарелые методы преподавания. Когда он кончил, к нему подошел один из профессоров и поздравил Джека с его литературным успехом. Между ними завязался разговор, во время которого Джек снова высказал свое мнение о недостатках в существующих методах преподавания:

– Разрешите мне заметить, что английский язык преподается не так, как следовало бы. Вы даете студентам таких устарелых авторов, как Макколей, Эмерсон, и других той же школы. Вам необходимо ввести в свой курс побольше литературы современного типа.

Профессор перебил его, улыбаясь:

– По-видимому, вы не знаете, мистер Лондон, что в нашем университете в качестве руководства по английскому языку принята ваша книга «Зов предков»?

После ряда выступлений Джек отправился со своим другом Джонсом Клаудеслеем на яхте «Спрей» в плаванье вверх по реке Сакраменто[14]. В пути он узнал, что я заболела, оставил яхту на попечение Клаудеслея и Маниунги (слуги-корейца, которого Джек привез из Маньчжурии и всюду возил с собой) и отправился пешком на ближайшую железнодорожную станцию. Он приехал к нам в Вэк Робин Лодж ночью и провел у моей постели два дня, развлекая меня, ухаживая за мной, как самая опытная сиделка. У меня был нарыв в ухе, вызванный, по-видимому, купаниями в Окленде в холодную погоду и особенно прыжком с двадцатифутовой

[14] Самая большая река штата Калифорния. Впадает в залив С.-Франциско.

вышины, которому меня научил Джек. Когда мне стало немного лучше, он вернулся на яхту.

11 февраля я получила от него письмо из Рио-Весты.

«Мы здесь уже два дня, но я еще не был на берегу, хотя город и интересуется моим существованием. Получил три приглашения на обед и т. п. Через пять минут ожидается прибытие баркаса с поклонниками. Кроме того, Броун вернулся с букетиком фиалок за ошейником, посланных, по утверждению Клаудеслея, самой красивой девушкой Калифорнии.

Думаю, что приму приглашение на обед вечером».

Броун был алясский волкодав, коричневый, с белыми пятнами, мохнатой шерстью и острыми ушами. Он был необычайно привязан к Джеку. Помню, однажды я заметила Джеку: «Как вы думаете, что сделал бы Броун, если бы неожиданно появился его прежний хозяин?» – «Постойте… одну минуту!» – закричал вдруг Джек, кидаясь, как безумный, к своей записной книжке.

Рассказ о собаке Броуне и о встрече с прежним хозяином вошел в сборник «Любовь к жизни».

В середине февраля Джек снова приехал в Вэк Робин Лодж. Но на этот раз он был какой-то усталый, раздраженный. В нем чувствовалось болезненное нервное напряжение. Он много говорил, суетился, как бы боясь молчания. Он ни на минуту не мог остаться в покое.

– Джек, дорогой мой, отчего бы вам не уехать на время из города? Захватите с собой работу, возьмите Маниунги, чтобы смотреть за вами, снимите маленький коттедж и работайте вдали от людей и волнений, – сказала ему моя тетя.

Джек взглянул на нее, и уголки его губ дрогнули, как у ребенка, готового заплакать.

– Спасибо… вы очень добры… Но… но я боюсь, что покой-то и сведет меня с ума…

Он пробыл у нас дней пять, и каждый день мы совершали с ним длинные прогулки. Но Джек, казалось, не замечал окружавшего нас великолепия, он, который так любил природу! Как-то вечером, на закате, мы остановились на зеленом, залитом солнцем холме. Я указала ему на долину, тянувшуюся к востоку, покрытую багряной тенью, падавшей от горы, на которой мы стояли. Я спросила его, неужели ему больше ничего не говорит прелесть окружающего нас мира. Он помолчал немного, потом мрачно ответил:

– Мне кажется, – больше ничего не говорит… Я болен, моя дорогая. Боюсь, что у меня «Долгая болезнь» Ницше. Все это не то, что мне нужно. Я сам не знаю, что мне нужно. О, как мне грустно, грустно, грустно! Мне больно, что я огорчаю вас. Я не знаю, чем все это кончится.

В последний вечер, перед отъездом, я повторила ему предложение тети, я повторила ему о прелести весны и лета здесь, под красными деревьями, говорила о том, что можно было бы предпринять… Но он умоляюще повторял:

– Нет… нет… я не могу… Я не могу вынести покоя… я вам говорю… Я не могу. Это свело бы меня с ума.

– Хорошо, – ответила я как могла спокойно. – Вы должны поступать так, как вам кажется лучше. Не будем больше говорить об этом.

Он остановился, взглянул на меня и, схватив меня за руку, сказал тем изменившимся голосом, звук которого так много для меня значил:

– Вы… вы единственная женщина из миллиона…

В эту ночь он проспал восемь часов подряд – для него это было невероятно много. Последнее время он работал целыми ночами, уделяя сну не более трех-четырех часов.

Наутро я предложила проводить его по другой дороге, через Нуннский кантон – восточный выход Сономской долины. Джек выглядел гораздо бодрее. Сон помог ему. Он

казался веселым. Мне было очень тяжело. Я чувствовала, что Джек ускользает от самого себя, что его тело и мозг не смогут долго выносить такого напряжения.

Но, казалось, в этот день на него действовало какое-то таинственное очарование – может быть, очарование сияющего калифорнийского утра, насыщенного запахом диких цветов и пением птиц, очарование яркого солнца и безоблачного синего неба. Я не верила своим ушам. Джек, как будто продолжая прерванный разговор, начал обсуждать вопрос о коттедже, о переезде, об обстановке, он говорил о том, что мы будем читать вместе, спрашивал, не могу ли я купить ему верховую лошадь на триста пятьдесят долларов, полученных за рассказ от «Черного Кота», и т. д. Я была поражена, но ни словом, ни жестом не обнаружила своего удивления. Чудо совершилось. Кризис миновал, и Джек вернулся из долины мрака.

Мы спускались по склону холма. Вдруг Джек остановился и положил руку на мое плечо. Это была величайшая минута моей жизни. Я взглянула в его глаза и увидела в них нечто большее, чем благодарность.

– Это вы сделали, друг-женщина! Вы вытащили меня. Вы успокоили меня. Вы были правы. Мне нужен именно покой. Со мной произошло что-то чудесное. Теперь все в порядке. Дорогой мой друг-женщина, теперь вам нечего больше за меня бояться.

Мое лицо ответило за меня, и я не произнесла ни слова. Мы торжественно обменялись рукопожатием и торжественно и радостно поцеловали друг друга на прощанье. В глазах Джека было что-то такое, что наполнило мои глаза слезами. Но эти слезы были как радостный дождь, предвещавший новые дни – для него и для меня. И радостная боль защемила мое сердце.

Глава десятая. Характер Джека. «Омерзительный реализм». «Страна любимой Отрады». План будущего

Внезапный и окончательный отъезд Джека из города возбудил оживленные толки в газетах. Конечно, было примешано и мое имя. Но даже «Экзаминеру» не удалось добиться от нас подтверждения своих матримониальных предположений. Джек только заявил им, что навсегда покидает город и отныне и зиму и лето будет проводить в Глэн-Эллене. В утешение он обещал «Экзаминеру», что сообщит ему первому о переменах в своем семейном положении.

Эти шесть месяцев до свадьбы были месяцами безоблачного счастья. Мы вместе работали, вместе веселились и открывали друг в друге поразительную общность вкусов и интересов.

Помню, однажды обнаружилось, что некоторые друзья Джека обвиняют меня в нечестности и лживости. Джек, уверенный в моей правоте, все же приложил все усилия, чтобы выяснить дело, доказать мою невиновность и смутить врагов. И только после того, как ему удалось побить их бесспорными, точными доказательствами – тем, что он называл «своей проклятой арифметикой», он заявил им раз и навсегда:

– Я люблю Чармиан. Люблю не за то, что она делала или могла бы делать, но за то, что я нашел в ней. За то, что она для меня значит. Я прекрасно знаю людей – моя жизнь построена на понимании людей, – и я настолько хорошо знаю Чармиан, что не поверю никакой клевете. Но дело в том, что если бы даже Чармиан убила своих родителей, если бы она питалась исключительно жареными сиротками, – для меня было бы важно то, что она представляет собой сейчас, то, какой я ее знаю.

Этот инцидент сблизил нас еще больше.

«Если бы ты знала, – писал мне Джек, – что для меня значит иметь кого-то, кто бьется со мной вместе плечом к плечу, кто сражается за мое дело и моим оружием…»

Джек никогда не мог найти оправдания чувству ревности и всегда считал ревность скотским чувством. «Если бы ты предпочла другого мужчину, если бы я не мог сделать тебя счастливой, я подал бы тебе этого человека на серебряном подносе и сказал бы: «Благословляю вас, дети мои…» Но… но не думаю, чтобы я мог послать тебя к нему на серебряном подносе».

Здесь, пожалуй, будет уместно сказать несколько слов об отношении Джека к женщинам вообще. Женщины любили Джека Лондона, умирали из-за любви к нему. Для него же любовь была естественной, горячей страстью, делающей жизнь полнее, но не наполняющей ее. Он очаровывал женщин всех классов, но сам он не терял головы. Женщины не могли помешать ни его работе, ни его приключениям. Он восхищался ими, но не мог простить им их узости и неустойчивости. Он не переносил глупых женщин, пустой женской болтовни.

– Я ненавижу болтающих женщин, – сердился он, – они говорят обо всем сразу… Для меня это безумие и ужас… Когда ты сходишься с женщинами и принимаешь участие в их болтовне, я начинаю меньше любить тебя. Это ведь совершенно уничтожает способность слушать…

Я вспоминаю первое время нашей совместной жизни, когда я еще не привыкла к его особенностям. Мы проводили долгие жаркие дни в саду под деревьями, и в течение целых часов я писала под его диктовку. От жары и усталости мы оба начинали нервничать. Иногда я имела неосторожность вступать с ним в спор. Но он неизменно поражал меня своей неумолимой логикой, а я, чисто по-женски и сама себя за это презирая, начинала плакать. И вот тут-то Джек, с его обычной откровенностью, предупредил меня:

– То, что я сейчас скажу, я скажу для твоего же блага, для нашего общего счастья. Я не думаю, чтобы ты была истеричкой. Ты думаешь, что я жесток. Может быть. Но в первые годы окружающее заставило меня почувствовать глубокое отвращение к истерике и ко всей низости потери контроля над собой, со всеми проистекающими из этого последствиями. Когда я вырос, я видел и слезы, и истерики, и ложные обмороки, все некрасивые штучки этого сорта, которые в моих глазах превращают женщину меньше чем в ничто. Прошу тебя, если ты любишь меня, не будь истеричкой. Предупреждаю – я буду холоден, суров, может быть, даже буду смотреть с любопытством. Я понимаю, что ты, с своей точки зрения, будешь чувствовать себя оскорбленной. Но пойми, что это равнодушие не зависит от меня. Оно стало моей второй натурой, моей основой. Я не могу не отстраняться от «дурных настроений», как от незабытых еще ударов… Однажды, когда мне было года три (и это запечатлено у меня в памяти, как каленым железом), когда я пришел с цветком в руке для подарка, я был оттолкнут, отброшен пинком злобной, освирепевшей женщины. Что же? Я был ошеломлен и поражен до глубины души, хотя и не понимал, в чем дело. А ведь эта женщина, по моему твердому убеждению, была самой замечательной женщиной в мире, ведь она мне это сама внушила… Вот эта и подобные истерические сцены ожесточили меня. Я ничего не могу поделать.

Всегда, везде и повсюду Джек проповедовал широту взглядов, боролся против мелочных, удобных и спокойных точек зрения. В такие минуты в его глазах сверкали искры, свежий молодой голос звучал, как боевой клич. А когда ему удавалось победить собеседника, побить его по всем пунктам, он говорил смущенно: «Не думайте, что я груб. Я всегда повышаю голос и говорю руками, ничего не могу поделать. Но разве вы не понимаете меня? Скажите, прав я или нет? Прошу вас, докажите, докажите мне, что я не прав!»

Отмечу мимоходом, что, несмотря на свою отчаянную жестикуляцию, Джек никогда ничего не разбивал. Помню, однажды в пылу разговора он смахнул со стола лампу. Но тотчас же подхватил ее на лету. «Я ни разу ничего не разбил», – говорил он. И правда, за всю нашу жизнь я не припомню ни одной разбитой им вещи.

Он продолжал писать тысячу слов в день. Он писал в маленькой мастерской своего коттеджа, состоящего из двух комнат, писал спокойно, без лихорадки, свойственной стольким писателям.

В эту эпоху Джек, впервые в жизни, погрузился в атмосферу беззаботности, веселья и дружбы. Он интересовался тысячью вещей: учился седлать лошадей, вешал гамаки, играл с Броуном, разводил на особых грядах грибы. В это лето вся молодежь, под руководством Джека, училась плавать, нырять, прыгать в воду, отыскивать брошенные в воду предметы, оставаться под водой, грести, боксировать, и т. п., и т. п. Мы занимались всеми видами спорта, кроме ходьбы пешком и охоты. Джек не выносил ходьбу и прибегал к ней только в случаях крайней необходимости. Что же касается охоты, то недаром он заслужил звание «Лучшего друга кроликов». Однажды он был приглашен на медвежью охоту. По возвращении на Ранчо он рассказал нам о своих похождениях.

– Эти люди не знают теперь, что со мной делать. Мне предложили то, за что всякий охотник отдал бы год жизни: возможность заполучить медведя. Но случилось так, что мы не встретили медведя. У просеки стоял олень с великолепнейшими рогами, какие только можно себе представить. Он стоял на маленьком горном хребте, и его силуэт резко вырисовывался на фоне заката. Мне стали шептать, что момент настал. Они дрожали от страха, что я могу упустить такой прекрасный случай. А я даже не поднял ружья. Я не в силах был выстрелить в этого громадного, прекрасного дикого зверя, беззащитного перед моим длинным ружьем.

Однажды, когда Джек читал нам вслух «Путешествие на «Спрей» Слокума, он отложил книгу в сторону и сказал:

– Если Слокум проделал все это в тридцатипятифутовой шхуне со старыми оловянными часами вместо хронометра, почему бы и нам не сделать того же на судне футов на десять длиннее, с лучшим оборудованием и в большей компании?

Вопрос вызвал усиленные обсуждения. Джек обернулся ко мне:

– А ты, Чармиан, что скажешь на это? Лет так через пять, когда мы выстроим себе где-нибудь дом, мы сможем отправиться в кругосветное путешествие на сорокапятифутовой яхте. Мне понадобится много времени, чтобы построить ее, и, кроме того, нам ведь придется переделать кучу вещей.

– Я буду с тобой на всем пути, – ответила я, – но к чему ждать пять лет? Почему бы не начать строить яхту весной, а с домом не подождать? Какой смысл строить дом только для того, чтобы сейчас же уехать и оставить его? Я люблю суда. Ты любишь суда. Давай называть судно нашим домом, пока мы не решим остановиться на каком-нибудь определенном месте. Никогда уже не будем мы моложе и никогда не будем стремиться в путь смелее, чем сейчас. Ведь ты же сам постоянно напоминаешь мне, что мы каждую минуту нашей жизни умираем клетка за клеткой.

– Я побит собственным оружием, – заметил Джек, довольный моей решимостью. Так впервые возникла мысль о путешествии на «Снарке».

В сентябре Джек, по поручению «Экзаминера», отправился на состязание в боксе между Бриттом и Нельсоном. Это состязание привело ему на ум один образ, который впоследствии вошел в обиход, по примеру «Зова предков», «Белого безмолвия», «Игры»; это – «Первобытный зверь».

– Под первобытным зверем, – объяснял Джек, – я подразумеваю жизненную основу, более глубокую, чем мозг и

интеллект. Разум покоится на ней. И когда разум уходит, она остается. Жизнь первобытного зверя – это то, что заставляет сердце выпотрошенной акулы биться в чьих-нибудь руках, то, что заставляет клюв уже убитой койвы сжаться и прикусить палец человека, это жизненная сила, заставляющая борца биться даже тогда, когда он перестает получать указания от рассудка.

Джеку так понравилось это выражение, что восемь лет спустя он озаглавил так свою повесть о боксере.

В эти месяцы кипучей, напряженной деятельности в груди Джека всходили семена, зароненные два года тому назад, когда он впервые увидел и полюбил Сономскую долину, «Лунную долину», как он назвал ее, зная, что «сонома» по-индийски значит «луна». Его мечтой было купить в этой долине участок земли, построить дом и поселиться в нем вместе со мной, когда мы поженимся. Во время наших блужданий по старой, уединенной дороге нас особенно пленял один уголок: три холма, поросших пихтой, красным деревом и цветущими каштанами – три островка, покрытые лесом и поднимающиеся из глубокого, волнующего лесного моря. Неожиданно обнаружилось, что этот участок продается, и Джек не успел опомниться, как оказался обладателем ста двадцати девяти акров прекраснейшей земли, прославленной впоследствии в его романе «День пламенеет».

Для всех эта местность называлась попросту Ранчо, но мы с Джеком называли ее «Страной любимой Отрады».

7 июня 1905 года Джек, полный детского энтузиазма, писал своему другу Клаудеслею:

«*7 июня. Глэн-Эллен. Сонома. Калифорния.*

Дорогой Клаудеслей! Планы действительно великолепные. Я разогнался на сто двадцать девять акров земли. Не буду даже пы-

таться описывать. Это выше меня. Купил несколько лошадей, жеребенка, корову, теленка, плуг, борону, фуру, кабриолет и т. д. Эта последняя часть расходов была непредвиденной и совершенно разорила меня… Я забрал у Макмиллана что мог, чтобы заплатить за землю, и теперь мне не на что выстроить сарай, не то что дом.

Еще не приступил к «Белому Быку». Пишу короткие рассказы, чтобы получить немного наличных денег. Волк».

«Волк» было прозвище Джека, данное ему его близким другом Георгом Стерлингом. Обычно Стерлинг называл Джека «лютым волком» или «косматым волком».

– Я вечно в долгах, – заявил Джек интервьюеру, присланному «Экзаминером». – Посмотрите на мою руку. Видите, как свет проходит сквозь пальцы? Значит, в руке течь. Это мне объяснил мой корейский слуга, с которым мы ездили по Маньчжурии. Все, чего бы я хотел, это – заработать столько денег, чтобы целый год ничего не делать. Это моя мечта.

– И тогда вы купите несколько крахмальных сорочек и вечерний костюм? – лукаво заметил интервьюер.

– О, это у меня есть. Я заработал их! Но я не желаю надевать их, если можно обойтись без этого. Я ненавижу такие вещи, но на крайний случай у меня имеются. Подчеркиваю: я заработал их! Я купил ферму на Глэн-Эллене, собираюсь построить дом и кучу вещей. Мне понадобится года два, чтобы сделать все изменения и устроиться. Тогда я выстрою сорокафутовую морскую яхту, возьму с собой двух-трех человек и отправлюсь вокруг света. Мы сами будем и матросами, и поварами; первая остановка будет в двух тысячах миль от Сан-Франциско, в Гонолулу. А потом все дальше и дальше. Может быть, в этом плаванье я осуществлю свою мечту о покое.

По поводу этого путешествия Джек писал Анне Струнской:

«…Помните «Спрей», на котором вы однажды плавали со мной? Так вот новое судно будет на шесть или семь футов длиннее, и я

собираюсь плыть на нем вокруг света и писать. Надеюсь пробыть в путешествии от четырех до пяти лет; обойти вокруг мыса Горн, мыса Доброй Надежды, вокруг Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Австралии, и вообще всего».

Мечты Джека «о покое» не раз ассоциировались с мыслями о смерти. Он, который так любил и прославлял жизнь, всегда с удовольствием говорил о вечном покое. Помню, в самом начале нашего знакомства я слышала от него следующее замечание:

– Мне приятна мысль о смерти. Подумайте только – лечь и уйти во мрак, уйти от всей борьбы и горя жизни, спать в покое, в вечном покое. О, я еще не собираюсь умирать – я буду сражаться за жизнь, как дьявол… Но когда мне придется умирать, обещаю вам: я буду улыбаться смерти.

В начале нашей совместной жизни я как-то сказала ему:

– Не надо, не надо строить так много больших планов, чтобы всегда трудиться над их осуществлением. Добывай деньги, а потом некоторое время ничего не делай.

Но за все годы нашей жизни день покоя все откладывался и откладывался.

Да, Джек всегда был в долгах. Но никогда он не зарывался так, чтобы не был в состоянии выкарабкаться. Он всегда отдавал себе ясный отчет в своих делах и обижался, когда его не признавали деловым человеком.

Глава одиннадцатая. Конец 1905 года. 1906 год. Письма. Второй брак

Издатели не раз уговаривали меня опубликовать письма, написанные мне Джеком Лондоном. Сначала я отказывалась, но потом меня поколебал один довод: эти письма могут дать полное и всестороннее представление о глубокой и любящей природе Джека. Между тем эта сторона его характера малоизвестна. Обычно его не понимают или, что еще хуже, понимают неправильно. Поэтому я решилась опубликовать некоторые из бесчисленных имеющихся у меня писем:

«Дорогая, дорогая женщина! Так или иначе вы очень занимали мою мысль в последние дни. И каким-то неизъяснимым путем вы стали мне еще дороже. Я не буду говорить о духовных и душевных качествах, потому что вы какими-то путями, лежащими вне моих слов и моей мысли, внезапно колоссально возвысились над остальными женщинами.

О, верьте мне, последние несколько дней я думал, я сравнивал и понял, что я не только больше и больше горжусь вами, но восхищаюсь вами. Дорогая, дорогая женщина! В четверг вечером, когда мы были среди друзей, как я восхищался вами! Конечно, мне нравился ваш вид, но, помимо этого, я был восхищен, и не столько тем, что вы говорили или делали, как тем, что вы не говорили и не делали. Вами, именно вами, вашей силой, уверенностью и властью, которой вы держите меня около себя, тем миром и покоем, которые вы мне всегда даете. Сейчас я еще более твердо, чем год назад, уверен, что мы будем счастливы вместе. Я разумно уверен в этом.

Господи! И вы отважны! Люблю вас за это. Вы мой товарищ. Я говорю об отважности души. Но вы обладаете и другой, второстепенной отвагой. Я вспоминаю, как вы плаваете, прыгаете, ныряете, и мои руки протягиваются к дорогому, чувственному, отважному телу, и моя душа тянется к отважной душе, заключенной в этом теле.

Моя первая мысль по утрам и последняя вечером – о вас. Мои руки обнимают вас, моя душа целует вас».

«Благословенный друг! Я не думаю о том, что расстался с вами, настолько мое сердце, моя душа полна вами. Сравнения ничто, рассуждения ничто, мне не надо рассуждать о вас. Разве только просто о том, что вы для меня – все, что вы для меня больше, чем какая-либо другая женщина, которую я знал.

Ваш Волк».

«Мое детство было одиноким. Я нигде не находил отклика. Я научился молчанию. Я рано пустился в свет и попадал в различные общественные слои. И, конечно, будучи новичком в каком-нибудь слое, я скрывал свое подлинное «я», которое в этом слое не было бы понятным, и в то же время внешне бывал крайне разговорчив для того, чтобы сделать свое принятие в этот новый класс наиболее успешным и полным. Так и шло: из слоя в слой, от клики к клике. Никакой интимности, все нарастающее ожесточение. Такая любезная поверхностная разговорчивость и такая внутренняя замкнутость, что первую всегда принимали за реальность, а о второй и не догадывались.

Спросите тех, кто меня знает сейчас, – что я такое? Они скажут, что я грубый, дикий, любящий бокс и все жестокое, имеющий ловкое перо и шарлатански-поверхностно владеющий искусством, обладающий всеми неизбежными недостатками невоспитанного, неутонченного, пробившегося человека, которые он не без успеха скрывает за грубой и необычной манерой. Стоит ли пытаться переубеждать их? Гораздо проще оставить их при их убеждении».

Еще до своего переезда из города в Глэн-Эллен Джек условился прочесть ряд лекций в восточных и среднезападных штатах. Это должно было быть его первое и последнее турне. Он никогда не любил выступать публично и не поехал бы и теперь, если бы здесь не представлялась возможность пропаганды в пользу дела. С Лекционным бюро было обусловлено, что Джеку предоставляется полная свобода говорить о социализме где бы то ни было и когда бы то ни было, если это не совпадает с его регулярными лекциями.

Наше индейское лето склонялось к концу, и Джек все больше и больше сердился на то, что ему приходится распроститься с лагерем, где он так хорошо проводил время.

На третьей неделе октября Маниунги приступил к укладке, и скоро Джек уехал, захватив с собой мой подарок – золотые часы с моим портретом на внутренней стороне крышки и превосходную миниатюру своих двух маленьких дочек. Вскоре после его отъезда и я приступила к укладке своего немудреного приданого и отправилась гостить к друзьям в Ньютон. 18 ноября я получила телеграмму, в которой Джек просил меня приехать на следующий день в Чикаго, где он будет проездом в Висконсин. Я прибыла в Чикаго на следующий же вечер с опозданием на три часа и встретила на платформе усталого, но терпеливого жениха, имевшего в своем кармане разрешение на венчание. В моем кармане лежало обручальное кольцо моей матери. На углу ждали два кеба. В одном из них сидел сильно заинтересованный Маниунги, никогда еще не присутствовавший на американской свадьбе.

Мы расписались у нотариуса и отправились в старый отель «Виктория», где Джек вписал имя миссис Лондон между своим именем и Маниунги, записанными накануне. В это время я незаметно, другим ходом, проскользнула в нашу комнату.

Никто, близко стоящий к «самому знаменитому писателю Америки», не мог избежать большей или меньшей известности. Не успел Джек взять ключ от комнаты, как на него уже напали три репортера. Они еще ничего не знали о его женитьбе и пока что интересовались только деталями турне. Но четвертый заметил мое имя, вписанное в книгу. Чернила еще не успели просохнуть. Он присоединился к остальным. Джеку под каким-то предлогом удалось удрать и запереться в номере. Но не прошло и трех минут, как все четверо

оказались у наших дверей, умоляя об интервью. К ним постепенно начало прибывать подкрепление, и в те немногие часы, что мы провели в гостинице, нас беспрерывно осаждали телефонными звонками, телеграммами, подсовываемыми под двери.

Но Джек, решивший свято сдержать обещание, данное «Экзаминеру» – сообщить им первым о всех изменениях в своем семейном положении, – был глух ко всем мольбам. И только один призыв чуть было не поколебал его решимости. Этот призыв был подсунут под дверь в виде записочки и сообщен умоляющим шепотом в замочную скважину: «Выходите же с вашими новостями, старина! Будьте милосердны! Нам надо добыть их. Ведь вы сами журналист! Вы понимаете. Выходите и выручите нас».

Но репортеры отомстили. Во вторник утром, возвращаясь из Висконсина в Чикаго, мы, к ужасу своему, увидели, что по всему вагону расклеены фотографии – Джека и моя – с широковещательными надписями о том, что наш брак недействителен.

Некоторые газеты действительно пытались затеять путаницу с законами о разводе и о женитьбе в Висконсине и Калифорнии. Газета «Чикаго Американ» на следующий же день поместила опровержение этих злостных сплетен, но все же мы в течение месяца не могли прочесть ни одной газеты, не натолкнувшись на какую-нибудь заметку о «знаменитом писателе» и «его женитьбе».

На все нападки Джек в разговорах с журналистами отвечал одно и то же: «Если моя женитьба незаконна, я женюсь на собственной жене в каждом штате Союза».

Однажды Джек прибежал ко мне, размахивая газетой: «Теперь попалась, друг-женщина! – кричал он. – После этого ты никогда уже не посмеешь взглянуть мне в глаза». И он прочел мне статейку, в которой говорилось, что «Джек Лон-

дон женился на безобразной девушке из Калифорнии, настолько безобразной, что дети на улицах Ньютона при виде ее с воплями бегут к матерям. По слухам, эта пара собирается отправиться в дальнее плаванье на долгие годы на маленькой яхте. Пожалуй, будет лучше для всех, если они утонут и никогда больше не вернутся».

– Ты думаешь, что я это выдумал? Да? – догадался Джек по выражению моего лица. – Взгляни-ка сюда! Ах, злобный старикашка, скверная старая вонючка! Интересно, что он съел за завтраком?

Но мне скоро удалось отомстить Джеку. Я первая нашла заметку о том, что «у Джека Лондона двусторонняя асимметрия лица».

Джек был возмущен:

– Но я вовсе не двусторонне-асимметричен! Я даже не знаю, что такое двусторонняя асимметрия. Взгляни на меня, – тут он хватался за зеркало, – у меня абсолютно прямые черты!..

Мы продолжали путешествовать с 26 ноября по 7 декабря.

Каждый раз, как мы переезжали с места на место, Джек клялся, что в последний раз ездит по железной дороге. Но каждый раз он забывал свою клятву. Мы скрашивали скуку долгих вагонных часов, читая друг другу вслух, играя в крибедж или казино, отвечая на письма. Мы с самого же начала привыкли уважать нашу взаимную свободу, независимость и потребность в уединении.

К концу нашего турне Джек стал чувствовать крайнее утомление. Помимо усталости от путешествия и чтения лекций, он вообще чувствовал себя подавленным и больным, когда попадал в большие города. Он не мог себе представить жизни в столице. 27 ноября на пароходе «Адмирал Феррагут» мы отплыли на Ямайку.

Глава двенадцатая. 1906 год. Путешествие. Нью-Йорк

«Адмирала Феррагута» отчаянно качало, и я в первый раз в жизни заболела морской болезнью. Для меня, жены моряка, это было ужасным унижением, тем более что Джек удивленно и неодобрительно поглядывал на меня, мрачно размышляя о предстоящих нам путешествиях. Но на третий день, войдя ко мне в каюту, он радостно заявил:

– Я узнал кое-что новое о себе самом и о тебе. Я никогда бы не подумал, что могу испытывать жалость и нежность к женщине, больной морской болезнью. И все-таки я люблю тебя как-будто сильнее, чем раньше, – не знаю почему. Может быть, потому, что в каждой новой обстановке, какова бы она ни была, ты становишься мне все дороже.

Впрочем, через месяц, когда мы плыли из Ямайки на Кубу на грязном испанском пароходике, Джек, к нашему великому обоюдному удивлению, тоже испытал приступ морской болезни.

«Адмирал Феррагут» остановился на Ямайке в Порт-Антонио на утро нового, 1906 года. Когда я проснулась, мы стояли в теплой тропической воде, опоясанной кораллами. Весь день мы купались, ныряли и упражнялись в спасении утопающих. Мы провели на Ямайке три дня, осматривали город, ананасные плантации, романтическую крепость Мортоун, расположенную на холмах, в которой и поныне живут мароны – потомки испанских рабов. На третий день мы уехали в Кингстон, где целый день отдали покупкам. Джек, всегда проявлявший большой интерес к моим нарядам и обращавший внимание на малейшие детали, купил мне в Кингстоне мягкий серебряный пояс, усыпанный камнями, браслеты в виде змей и несколько вееров. Для того, чтобы

передать все, что мы видели и перечувствовали в Гаване, потребовалась бы целая книга. В моем карманном дневничке имеются следующие записи: о Кубе – «Невыразимо прекрасно» – и о Гаване – «С ненавистью встретили мы срок отъезда из Гаваны, но перед нами весь мир».

Следующая остановка была в Майами. Джек, знавший, кажется, все на свете, непременно желал заняться ужением в Майами и мечтал поймать несколько образчиков из тех шестисот с чем-то разновидностей рыб, которыми славятся эти воды.

– Ты только представь себе, друг, – говорил он, – на этом берегу водится одна пятая всей фауны американского материка к северу от Панамы.

Пребывание в Майами было заполнено катаньем на лодках, ужением рыбы, покупкой редкостей и змеиных кож, исследованием тропической реки Томоки.

Перед отъездом Джек вдруг почувствовал себя нездоровым, и мне пришлось посылать в Нью-Йорк телеграммы, чтобы отложили лекции. Джеку становилось все хуже, но он не соглашался позвать врача.

– Я не могу откладывать лекции, – твердил он, – это просто грипп. Я знаю симптомы и знаю все способы поправиться, которые находятся в моем распоряжении, лучше всякого доктора.

В конце концов я уступила и уселась у его изголовья, изредка взглядывая в окно на мелькавшие экипажи. Когда я поглядела на Джека, я увидела, что по его горячим от жара щекам текут крупные слезы.

– И подумать только, что я приехал в это проклятое место только для того, чтобы глядеть на эти экипажи, – стонал он.

Я была очень напугана и тщетно старалась его утешить. А ночью сама подверглась такому же приступу болезни, сопровождавшемуся той же чрезмерной чувствительностью, и мы с Джеком всю ночь проплакали в объятиях друг друга.

Впоследствии мы не могли без смеха вспоминать об этом припадке лихорадки «бу-ху».

Джек прибыл в Нью-Йорк измученным, еще плохо оправившимся от лихорадки, имея в своем распоряжении вдвое меньше времени на чтение лекций, чем было предположено. С первых же дней на нем, как обычно, тяжело отозвалась жизнь в большом городе.

– Здесь сплошное сумасшествие, – говорил он. – «К чему кому бы то ни было что-нибудь делать?» – вот моя постоянная мысль в Нью-Йорке. Когда меня бреют, я смотрю в лицо человека, держащего бритву, и удивляюсь, почему он не перережет мне горло. Я с удивлением смотрю на мальчика у подъемной машины в гостинице: почему он не пошлет все к черту и не даст машине разбиться вдребезги, просто так, для забавы.

Мы побывали в опере, ужинали в Революционном клубе, проводили время с знакомыми, но Джек все время был молчалив, сосредоточен и подавлен, как будто в нем совершенно угасла его обычная веселость.

– Чего можно ожидать от Нью-Йорка? – повторял он. – В Нью-Йорке невозможна никакая человеческая оценка всего естественного и человеческого.

25 декабря Джек отправился в Нью-Хевен читать в Иэльском университете лекцию на тему «Наступающий кризис».

К моему глубокому сожалению, я была нездорова и не могла сопровождать его. По поводу предполагаемой лекции было много толков и споров на факультете, но в конце концов профессора пришли к убеждению, что Иэль – «университет, а не монастырь», а Джек Лондон – «один из самых замечательных людей в мире». Больше того – поклонникам Джека удалось добиться разрешения на устройство лекции в Вульсей-Холле – громадном беломраморном зале. Социалисты моментально приступили к самой широкой пропаганде. На

все фабрики и заводы, во все магазины разосланы были извещения о лекции. На каждом дереве висело объявление: «Джек Лондон в Вульсей-Холле». Особенно замечателен был один плакат: Джек в ярко-красном свитере на фоне огромного зарева.

Вечером огромный зал был переполнен. Тут были представлены все социальные слои Нью-Хавена и его окрестностей: присутствовали профессора, студенты, многие сотни рабочих, сотни обывателей, сотни социалистов. Лекция длилась два часа. Вначале были сделаны две-три попытки прервать или осмеять оратора, но они не встретили никакой поддержки. Джеку сразу удалось захватить аудиторию и приковать к себе всеобщее внимание. По окончании чтения он до полуночи отвечал на предлагаемые ему вопросы. Профессора открыто признали, что лекция Джека Лондона была «самым поразительным явлением в Иэле за долгие годы».

Но капиталистическая пресса, еще не простившая Джеку прежних его выступлений, снова обрушилась на него. «Блестящий молодой писатель» превратился в «патологический тип неврастеника». Публику призывали к бойкоту его произведений. Некоторые крупные издательства отказались от продажи и издания его книг. Пожалуй, не стоит говорить о том, что эта газетная травля, тяжело отразившаяся на материальных делах Джека, была бессильна повлиять на его взгляды или удержать его от пропаганды дела всегда и везде, где только представлялась возможность.

Мы пробыли в Нью-Йорке девять дней, а затем отправились в Чикаго, где Джек повторил свою лекцию «Социальная революция» в Чикагском университете. Из Чикаго мы направились в Сен-Поль и Северную Дакоту, где в феврале Джек прочел студентам две последние лекции.

В эту эпоху оба мы были очень заняты. Помимо своей обычной литературной работы, Джек следил за постройкой

дома, за посадкой всевозможных фруктовых деревьев, за устройством виноградника и т. д. Кроме того, мы совершали бесконечные прогулки верхом.

Лето 1906 года мы провели на «Благословенном Ранчо», как его называл Джек. Мы жили в маленьком коттедже. Когда к нам наезжало особенно много гостей, мы переходили в большой гостеприимный дом тети. Главным нашим занятием продолжали быть прогулки верхом. Мы никогда не уставали изучать и восхищаться красотой нашего «Благословенного Ранчо». Свободное время было заполнено чтением бесчисленных книг самого различного содержания. Джек читал нам вслух Уэллса, Мопассана, Зудермана, Гертруду Аттертон, Фильпоттса, Селеби, Спенсера, Шоу, Ибсена и многих других, так как он хотел быть «внутри того, что делают другие».

18 апреля 1906 года произошло «великое жизненное сотрясение», иначе говоря, знаменитое землетрясение в Сан-Франциско, почти совершенно разрушившее этот прекрасный город. Мы все проснулись в шесть часов утра от толчка, длившегося около полминуты – самой длинной полминуты в моей жизни. Не прошло и получаса, как мы с Джеком уже мчались верхом по направлению к Ранчо, откуда с вершины холма были видны два громадных столба дыма: один – над Сан-Франциско, другой – над Санта-Розой. В полдень с первым попавшимся поездом мы отправились в Санта-Розу и всю ночь проблуждали по холмам города. Мы были полны странных, не поддающихся описанию чувств: нам казалось, что мы присутствуем при конце мира, что земля на наших глазах возвращается к первоначальному хаосу.

– Я никогда, ни для кого не напишу об этом, – сказал Джек. – Нет, я не напишу ни слова. Не стоит и пытаться. Тут ничего нельзя сделать, как только подобрать несколько звучных слов и беситься над их беспомощностью.

Мы стояли на холме в более или менее безопасном месте, смотрели, как разрастается пожар, слушали, как со страшным грохотом один за другим рушились стальные дворцы. В ту ночь мы сделали не менее сорока миль. И когда на следующий день мы вернулись в Окленд, нас приняли по внешности за беженцев, пострадавших от землетрясения.

Вернувшись домой, мы застали телеграмму от «Коллиеровского еженедельника», предлагавшего Джеку написать двадцать пять тысяч слов о землетрясении по двадцать пять центов за слово. Денег, конечно, не было. Землетрясение разрушило начатые на Ранчо постройки, и Джек, нарушив данное себе обещание, написал статью, о которой сам был очень невысокого мнения.

– Это лучшая попытка сделать невозможное, – отзывался он об этом очерке.

Через две недели после землетрясения мы с Джеком устроили себе каникулы и верхом отправились исследовать последствия землетрясения в селах Калифорнии. Мы не работали, не думали, мы только наслаждались далекими, неизвестными туристам уголками Калифорнии. Мы пропутешествовали всего пятнадцать дней, но по возвращении нас ожидала уйма работы. Джек снова начал регулярно передавать мне для переписки на машинке десять рукописных страниц в день.

Обычно я клала ему на письменный стол перепечатанную работу к девяти часам утра. Он любил перечитывать со мной свою дневную работу. Даже если я случайно проходила мимо него, когда он работал, он отрывался от дела и прочитывал мне то, что успел написать. Но мы все же успевали купаться, ездить в Ранчо, боксировать, устраивать пикники и костры при лунном свете. Запись в моем дневнике гласит: «Счастливы, как ангелы». В то время у нас были в моде два развлечения: пускание мыльных пузырей и распаковывание посылок, выписанных Джеком. У него была слабость

выписывать разные вещи по объявлениям. А так как мы готовились к нашему большому плаванию, то каждая утренняя почта приносила нам принадлежности для рыбной ловли, бесчисленные связки бус всех цветов, размеров и форм, пестрые платки, ситцы и ленты, предназначенные услаждать сердца туземцев Южных морей.

В лето 1906 года Джек приступил к большому роману «Железная пята».

Закончив «Железную пяту», Джек приступил к серии эпизодов из своей бродяжнической жизни. Они выходили периодически под заглавием «Моя жизнь на дне», а затем вышли отдельной книгой – «Дорога».

Великое землетрясение причинило Джеку много убытков. Прежде всего постройка яхты, которая должна была обойтись в семь тысяч долларов, поднялась до тридцати тысяч и задержалась на полгода. За это время мы получили бесконечное множество писем от самых разнообразных людей, желавших принять участие в нашем путешествии на каких угодно условиях. Некоторые предлагали даже заплатить за проезд. Здесь были и доктора, и юристы, и нищие, и воры, и архимиллионеры, и моряки, и поэты, и историки, и геологи, и художники, и священники – одним словом, все, без различия пола, возраста, профессии и цвета кожи. Но Джек твердо решил, что у всех, кто поедет на «Снарке», будут определенные обязанности и определенное жалованье.

Когда приготовления к отъезду стали приближаться к концу, Джек предложил одному журналу свои будущие путевые заметки. Я привожу это письмо, так как в нем Джек излагает свои планы:

«18 февраля 1906 года.

Дорогой… Киль уже готов. Судно будет в сорок пять футов длины. Оно должно было быть немного короче, но мне нужно было как-нибудь втиснуть ванную. Я отплываю в октябре. Первая оста-

новка будет на Гавайских островах. Оттуда мы отправимся скитаться по Южным морям, к Самоа, Тасмании, Новой Зеландии, к Австралии, Новой Гвинее и мимо Филиппинских островов к Японии. А затем Корея, Китай и вниз к Индии, по Красному морю, Средиземному, Черному, Балтийскому, через океан к Нью-Йорку, и вокруг мыса Горн в Сан-Франциско… Я непременно проведу зиму в Петербурге, и есть много шансов за то, что я поднимусь по Дунаю от Черного моря до Вены. Не будет такой европейской страны, в которой я не проведу от одного до нескольких месяцев. Так, не спеша, будет протекать все путешествие. Я не желаю торопиться. Я высчитал, что на такое путешествие понадобится семь (7) лет.

Судном будем управлять я и мой друг. Матросов не будет. Моя жена сопровождает меня. Конечно, я возьму с собой повара и слугу. Но они не будут принимать участия в управлении судном. (Впоследствии этот план был несколько изменен). По оснастке это судно будет чем-то средним между яхтой и шхуной. Оно будет вроде английских рыбачьих судов на Доггерских отмелях.

Все же у нас будет маленький мотор на случай крайней необходимости – в плохую погоду у рифов и в мелководье, – когда внезапное затишье при быстром течении делает парусное судно беспомощным. Кроме того, мотор будет иметь еще одно назначение: доплыв до какой-нибудь страны, скажем, до Египта или до Франции, я смогу подняться по реке Нил или Сенегалу, сняв мачты, при помощи одного только мотора. Я рассчитываю проникать таким способом в глубь многих стран, оставаясь на своем судне. Нет препятствий, которые могли бы помешать мне попасть таким образом в Париж и ошвартоваться в Латинском квартале – кормой к моргу, а носом к Собору Парижской Богоматери.

Издатель выразил согласие, и 3 апреля 1906 года Джек подписал соглашение о том, что он «снабжает» журнал серией статей с описанием путешествия на парусном судне, каковое путешествие по возможности будет кругосветным. Джек взялся также поставлять и фотографии.

В это же время он получил предложение от одного женского журнала написать ряд статей о домашнем быте разных туземных народов.

Постройка судна все затягивалась, и отъезд был перенесен на 1 ноября. Тогда же мы окончательно остановились на названии «Снарк», заимствованном нами у Луиса Кэрролла – «Охота на «Снарке».

Когда в рождественском номере журнала появился первый очерк, Джек в ярости издал «долгий волчий вой»: в статье без его согласия были произведены значительные изменения.

«В нашем договоре, – заявил взбешенный Джек, – я признал ваше право отвергать статьи целиком или выкидывать некоторые спорные фразы. Против этого я не возражаю. Но когда вы вырезаете всю сердцевину, как в моей морской статье, это совсем другое дело. Вы придали моему описанию тридцатицентовый вид.

И я предупреждаю вас: я на это не согласен. Скорее порву соглашение, чем соглашусь на это. Если вы посмеете так же поступить и со следующей статьей… я больше не пошлю вам ни единой строчки».

Последовал обмен еще двумя или тремя письмами, и в результате Джек действительно передал статьи в другой журнал, по гораздо более высокой оплате.

Нас ожидала еще неприятность: потеря Маниунги. В течение целых недель он с чисто восточной хитростью пытался нас заставить уволить его. По-видимому, единственным мотивом его ухода было нежелание участвовать в плавании по семи морям на таком маленьком судне, как «Снарк». В его груди не было сердца моряка. И вот он старался как можно хуже вести себя и как можно хуже выполнять свои обязанности. Однажды вечером дело разрешилось самым забавным образом: Маниунги нарочно целый день обращался к Джеку с самыми разнообразными названиями вместо обычного мастер или мистер Лондон. Названия становились все необычайнее и необычайнее, но ему никак не удавалось вывести

Джека из себя. Тот только молча поглядывал на Маниунги. Ему жаль было терять Маниунги и притом таким недостойным способом. Наконец Маниунги превзошел самого себя. Он подошел к Джеку и нарочито наглым тоном спросил:

– Не желает ли божество выпить пива?

– Я больше ничего не желаю от вас, Маниунги, – спокойно ответил Джек, и этим все кончилось. Маниунги был заменен маленьким японцем Точиги, впоследствии ушедшим в священники. Точиги отличался артистической жилкой: он каждый день украшал наш стол цветами, причем ни разу не повторил одного и того же убранства.

В начале декабря Джек закончил роман «Железная пята», начатый в августе, и принялся за «Дорогу». Одновременно он писал и короткие рассказы, вошедшие в сборники: «Революция», «Потерянный лик» и «Сила сильных».

Мой дневник за 1906 год кончается следующими словами: «Вот кончился самый счастливый год моей жизни. И перед нами – Великое Приключение».

Глава тринадцатая. 1907, 1908 и 1909 годы

«Наши друзья никак не могут понять, почему мы пускаемся в это путешествие. Они содрогаются, вздыхают, воздевают кверху руки… Но никакие объяснения не могут дать им понять, что мы идем по линии наименьшего сопротивления, что нам легче пуститься в море на маленьком судне, чем оставаться на суше, точно так же, как им легче оставаться на суше, чем пускаться в море на маленьком судне… Они не могут хоть на некоторое время отрешиться от самих себя и понять, что их линия наименьшего сопротивления не является линией наименьшего сопротивления для каждого… Они думают, что я сошел с ума!.. Для меня ценно то, что я люблю. И больше всего я люблю личное достижение – не достижение для одобрения света, а достижение для собственного наслаждения. Это все то же древнее: «Я достиг! Я достиг! Я достиг!» Я достиг этого собственными руками. Но для меня личное достижение – это нечто конкретное. Я предпочитаю одерживать победы в борьбе, в плавании… Я таков… Мне это нравится. Вот и все! Путешествие вокруг света означает великие мгновения жизни. Здесь море, ветер, волна… Здесь моря, ветры и волны всего мира… Здесь трудность достижения, достижения, которое является достижением для моего мелкого, трепещущего тщеславия… Это мое особое тщеславие – вот и все».

Путешествие на «Снарке» дало и мне и Джеку гораздо больше радости, чем мы предполагали.

Несмотря на мое абсолютное невежество в морском деле, Джек все же признал во мне настоящего моряка и принялся за мое обучение. Скоро он стал доверять мне управление «Снарком», и часто, даже в опасных местах, я стояла у руля и исполняла его приказания.

24 ноября 1907 года под 146°20′ западной долготы и 6°47′ северной широты Джек писал своему другу Георгию Стерлингу:

«В будущий понедельник будет 49 дней с тех пор, как я в последний раз видел землю. Мы теперь у Дольдрумов, в нескольких сотнях миль от Маркизских островов.

Не говорили вам когда-нибудь о том, как труден переход между Гавайскими и Маркизскими островами?.. Капитаны китобойных судов сомневаются в том, что можно совершить переход от Гавайи до Таити, а это значительно легче, чем до Маркизских островов. Нам приходилось бороться за каждый дюйм к востоку, чтобы иметь возможность обойти острова, когда мы попадем в юго-восточные пассаты… В первые две недели после Хило мы повстречали северо-восточный пассат. В результате нас отнесло к югу (восточное течение) и фактически мы не подвинулись к востоку, пока не попали в переменный ветер.

Но я работаю ежедневно.

Скажите, видели вы дельфинов? Представьте себе ловлю дельфинов на удочки и на катушки. Я сам занимаюсь этим. Вам надо было бы видеть, как они хватают нитку (на моей катушке шестьсот ярдов, и они все идут в дело). Первый боролся со мной двадцать минут, пока я не притянул его и не посадил на острогу: четыре фута, шесть дюймов сверкающего великолепия!

Когда они пойманы, они стараются удрать, как безумные. Все время выскакивают из воды и во время своих огромных прыжков трясут головами, как молодые жеребцы.

Мне трудно заснуть после того, как я поймаю дельфина. Их прыгающая, сверкающая красота захватывает.

До этого путешествия я ни разу не видел дельфинов как следует. Они голубые, а когда их поймаешь, делаются золотыми. После, уже на палубе, они проходят всю гамму красок. Но в воде, после первой дикой скачки, они – как чистое золото.

Я собираюсь описать путешествие на «Снарке» и озаглавить описание; «Вокруг света с тремя газолиновыми моторами и женщиной».

Десятидневная почта, полученная Джеком на Таити, принесла ему письмо от первой жены, извещавшей его о своем предстоящем замужестве. Так как Джек не мог не

интересоваться тем, кто будет отчимом его дочерей, мы сделали перерыв в нашем плавании на «Снарке» и отправились в тридцатидневное путешествие в Сан-Франциско. И мы тосковали, пока не вернулись опять на «Снарк».

За все плаванье – то есть с 1907 по 1909 год – Джек написал более восьми книг, несмотря на то, что управлял судном, читал, развлекался, бывал нездоров по целым неделям и просто подолгу ничего не делал.

Издатели и читатели неоднократно упрекали Джека в том, что в романе «Приключение» он дал преувеличенно-мрачное или даже вовсе неверное изображение диких племен в двадцатом веке. Чтобы отвести эти обвинения, я привожу следующие выдержки из писем Джека.

Соломоновы острова. 31 октября 1908 года.

«Последние три-четыре месяца «Снарк» крейсировал вокруг Соломоновых островов. Это, пожалуй, наименее исследованный уголок мира. Здесь царят людоедство, убийство и охота за головами. На самых опасных островах этой группы мы никогда, ни днем, ни ночью, не бываем безоружны, а по ночам ставим часовых. Как-то Чармиан и я отправились на другом судне в плаванье вокруг Малаиты. Экипаж состоял из чернокожих. Туземцы, которые встречались нам – и мужчины, и женщины, – были совершенно обнажены и вооружены луками, стрелами, копьями, томагавками, боевыми палицами и ружьями (у меня есть для вас боевые палицы с Фиджи и с Соломоновых островов). Сходя на берег, мы всегда берем с собой вооруженных матросов. А люди на вельботе не оставляют весел, и нос повернут к морю. Однажды мы отправились вплавь в устье пресноводной реки, и все время в кустах сидели наготове матросы. Раздевшись, мы положили платье на самом видном месте, а оружие спрятали в другое место, чтобы в случае нападения не быть застигнутыми врасплох.

В довершение всего наше судно налетело на риф. За минуту до этого не было видно ни одного каноэ. Но тут они стали слетаться, как коршуны. Половина команды держала их в отдалении при по-

мощи винтовок, остальные матросы работали над спасением корабля. А на берегу тысячи дикарей ожидали грабежа. Но им не удалось заполучить ни судно, ни нас».

Вот выдержка из другого письма:

«У нас было достаточно волнений, – это может подтвердить и Чармиан. Но самым потрясающим был рассказ миссионера о его спасении. Он проповедовал на одном из этих островков, где практикуется людоедство, и был захвачен в плен каким-то скептически настроенным вождем. К великому удивлению миссионера, вождь немедленно отпустил его, но под одним условием: миссионер должен был доставить маленький запечатанный пакетик вождю соседнего горного племени. Миссионер был так доволен, что, повстречавшись с отрядом английских матросов с военного судна, отказался от их предложения проводить его в более безопасное место: он должен исполнить свое обещание и передать маленький запечатанный пакетик. В нем, среди мелких луковиц, было запрятано следующее послание:

«Податель сего будет с ними очень вкусен».

Единственной причиной, по которой наше прекрасное путешествие было закончено через два года вместо семи, девяти или бесчисленного множества лет, – была чрезмерная чувствительность организма Джека. Ультрафиолетовые лучи оказывали гибельное влияние на его нервную систему. Вот его собственные слова:

«Я отправился в Австралию и провел в госпитале пять недель. (Операцию пришлось производить из-за двойной фистулы, неизвестно отчего образовавшейся). Пять месяцев провел я в самом жалком состоянии в разных госпиталях. Таинственная болезнь, поразившая мои руки, была не под силу австралийским специалистам… Она перешла и на ноги, так что временами я был беспомощен, как ребенок. Иногда мои руки бывали вдвое больше своего нормального размера, и на них бывало по семи умирающих

и умерших кож, шелушащихся в одно и то же время. Иногда ногти на пальцах ног в двадцать четыре часа достигали толщины, которая равнялась их длине. Их спиливали, но в двадцать четыре часа они нарастали снова. Австралийские специалисты признали, что болезнь эта не инфекционная и, следовательно, должно быть, нервного происхождения. Я не поправлялся, и мне невозможно было продолжать путешествие… Тогда я рассудил, что в моем обычном климате в Калифорнии я всегда находился в устойчивом нервном равновесии. По возвращении я совершенно выздоровел. И я разузнал, в чем было дело. Мне попалась книга полковника Чарльза Вудруфа: «Действие тропического света на белых людей». Тогда я понял… Одним словом, у меня оказалось предрасположение к разрушению тканей под тропическими лучами. Я был разорван на части ультрафиолетовыми лучами так же, как бывали разорваны на части исследователи, изучавшие икс-лучи. Среди различных болезней, которые в общей сложности заставили меня прервать мое путешествие, была, между прочим, и болезнь, называемая «болезнью здоровых людей», «европейской проказой» и «библейской проказой». В отличие от настоящей проказы эта болезнь почти неизвестна… Доктора возлагали единственную надежду на внезапное исцеление, что со мной и произошло. (Эта болезнь – псориаз, известная в Соединенных Штатах. Для нее существует много способов лечения, но ни один из них не признан действительным).

И последнее слово – мерило путешествия: мне и каждому мужчине легко признать, что путешествие было приятным. Но у нас есть лучший свидетель – женщина, которая проделала все плаванье от начала до конца. Когда я, лежа в госпитале, сообщил Чармиан о том, что я должен вернуться в Калифорнию, ее глаза наполнились слезами. Дня два она была совершенно убита мыслью о том, что наше радостное путешествие кончено».

Жребий был брошен. Джек распустил команду и продал «Снарк», который теперь стоит только одну десятую своей первоначальной вздутой цены. В обратный путь с нами пустился и восемнадцатилетний японец, маленький Йошимутсу Наката, поступивший на «Снарк» на Гавайских

островах. Наката больше не расставался с нами. Девять лет он повсюду следовал за нами, как любящая и любимая тень. И я смело утверждаю, что ни Джек, ни я никогда не могли вполне утешиться после того, как Наката в 1915 году, женившись, ушел от нас. В настоящее время Наката окончил медицинский и хирургический институт в Сан-Франциско и успешно занимается хирургией в Гонолулу.

О нашем возвращении было сообщено в газетах, и от Нового Орлеана до Окленда на всех станциях нас осаждали репортеры. 24 июля 1909 года мы снова были дома в Вэк Робин Лодже.

Все болезни Джека – и малярия, и псориаз, – сразу прошли, как только он попал домой. В конце концов мы рады были вернуться, рады были посмотреть на все новое, рады были приняться за накопившиеся дела. Громадный каменный сарай был закончен и покрыт черепицей. Внутри он был разбит на несколько отделений и, кроме экипажей и лошадей, вмещал еще наши великолепные тихоокеанские коллекции. Этот маленький музей был не раз и очень подробно описан в газетах, причем ценность его определялась в долларах и центах. Между тем мы сами не могли определить его стоимости, так как единственным предметом мены с дикарями в Меланезии были пачки табака.

На Ранчо были сделаны значительные улучшения; мы нашли также большой прирост живности – телок, жеребцов, цыплят, утят, голубят… Но самое замечательное было то, что моя тетя – доверенная Джека – присоединила к нашему имению маленький «Рыбный Ранчо» и сто тридцать акров земли, примыкающие к Вэк Робину. Джек сейчас же принялся за посадку на новом участке пятнадцати тысяч маленьких эвкалиптовых деревьев.

Последние месяцы 1909 года были бы месяцами безоблачного счастья, если бы не мои постоянные приступы

малярии. Часто мне целыми днями приходилось лежать в постели, что тяжело отражалось на Джеке. Дом все время был полон гостей, работа задерживалась, и Джек чувствовал себя несчастным и беспомощным.

В конце 1909 года Джек кончил роман «День пламенеет». В том же году вышли две его книги «Потерянный лик» и «Мартин Иден». «Мартин Иден» вызвал почти единодушный протест: как мог Джек заставить своего героя покончить самоубийством! Джек получал даже письма с упреками по этому поводу. Но он утверждал, что Мартин, с таким трудом завоевавший себе славу, был лишен и любви и радостей, не встречая среди людей поддержки; в своем одиночестве он не мог сделать ничего другого, как только покончить с жизнью, превратившейся в бремя.

– Вот в чем мое отличие от Мартина Идена, – говорил Джек: – добившись славы, я не замкнулся в самом себе. Я наслаждаюсь тем, что общаюсь с людьми и принимаю в них участие. И что лучше всего – я нашел любовь.

К Рождеству 1909 года мы окончательно убедились в том, что наше заветное желание сбудется: у нас родится ребенок. Джек совершенно преобразился. В каждом взгляде, в каждом прикосновении его рук, в звуке его голоса звучала бесконечная радость.

Мне кажется, для меня всегда дороже всего будет память об этих месяцах. Никогда я не чувствовала себя такой сильной, такой счастливой. Мне кажется, никогда так не пели птицы, не цвели цветы. Мы гуляли с Джеком по нашему эвкалиптовому лесу, где деревья доходили нам до колен, и мечтали о том времени, когда он будет выше нашей головы. «Ведь он немногим старше нашего мальчика», – говорил Джек. Потому что у нас *должен* был быть мальчик!

Как много может человек пережить – и физически, и духовно – и как он в конце концов великолепно побеждает все. В

воскресенье, 19 июня в Оклендском госпитале родился наш ребенок. В моем дневнике есть запись: «…потом наступили ужасные часы, когда Джек помогал мне, любил меня, дышал вместе со мной… Это была девочка, и мы назвали ее Джой (радость)».

Джек сиял от счастья. Он был в восторге от нежной кожи и серых глаз ребенка. «Настоящие англосаксонские, как у друга и у меня», – радовался он. Он даже не испытывал разочарования от того, что получил дочь вместо горячо желанного сына. «Мальчик, девочка – не все ли равно… раз это от Чармиан!»

Бедная маленькая Радость! Тяжелые роды и неумелый уход в течение первых тридцати восьми часов стоили ей жизни.

На третий день после родов Джек явился ко мне в госпиталь с одним – подбитым, другим – совершенно затекшим глазом. Он откровенно рассказал мне все, что с ним произошло.

– Ты знаешь, как я ненавижу ходить пешком. И всегда, когда я хожу, со мной случаются какие-нибудь неприятности. Клянусь, никогда в жизни больше я не пойду пешком. Но слушай, что было…

Он блуждал по городу, с журналами под мышкой, размышляя о постигшем нас несчастье, и незаметно для себя зашел в глухой квартал, полный китайских игорных домов. Вдруг он увидел перед собой вывеску американского клуба и маленькую дверь, которая, по его расчету, вела в уборную. Он вошел и неожиданно попал в комнату, расположенную за общим залом, – по-видимому, в ночной притон. Хозяин притона, увидев журналы в руках Джека, решил, вероятно, что он собирается расклеивать объявления на его стенах, пришел в ярость и накинулся на него. На помощь выскочили какие-то темные личности, и Джек, весь избитый, был выброшен на улицу. Он с трудом уговорил полисмена

арестовать содержателя притона. Дело благодаря настойчивости Джека попало в суд. Но судья нашел дело «сомнительным», а так как сомнение толкуется в пользу подсудимого, то дело было окончено вничью. Впоследствии удалось выяснить, что судья являлся собственником этого притона. Джек написал рассказ, в котором описан весь этот случай и который заканчивается воображаемой местью судье. В действительности Джеку отомстить не удалось, хотя он, несмотря на свою обычную незлобивость, дал торжественную клятву так или иначе подловить этого судью. Он послал самому судье, а также разослал во все газеты Окленда и Сан-Франциско следующее письмо:

«Когда-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, но я поймаю вас. Не бойтесь, я поймаю вас на законном основании. Я вовсе не собираюсь подвергать себя уголовной ответственности. Я не знаю вашего прошлого. Но теперь я начинаю интересоваться вашим прошлым и наблюдать за вашим будущим. Когда-нибудь, как-нибудь, но я поймаю вас, и поймаю во всеоружии законов и законного следствия, как полагается цивилизованным людям».

Но Джек так и умер неотомщенным, если не считать, что страх, в котором с тех пор жил судья, уже сам по себе был местью.

Помимо рассказа «Наказанный судья», в этот период было написано еще несколько рассказов, вошедших в сборник «Рожденная в ночи», и два рассказа, вошедшие в сборник «Черепахи Тэсмана». Затем Джек приступил к повести «Зверь из бездны» и написал около дюжины рассказов, группировавшихся вокруг центральной фигуры Смока Беллью.

В тот год Джек почти не выступал публично. Только в декабре 1910 года он выступил в Сан-Франциско с протестом против смертных казней революционеров в России и Японии.

Глава четырнадцатая. Плавание на «Ромере». Глэн-Эллен

После долгих поисков Джек нашел подходящую для плавания по рекам тридцатифутовую яхту «Ромер». Мы произвели испытание и нашли, что, несмотря на ее зрелый возраст – по крайней мере сорок лет, – она вполне подходит для нашей цели. 17 октября Джек, я, Наката и повар Ямамото (социалист, впоследствии водворенный на родину длинными руками микадо) отплыли из Окленда по Сан-Францисской бухте.

За два дня до отплытия я нашла на своем рабочем столе голубую книжку романа «День пламенеет» с надписью:

«Сладостная страна, друг-женщина, сладостная и всемогущая страна, избранная мною и тобою, наша Лунная долина.

Твой муж Джек».

Моя давняя мечта сбылась: я вместе с Джеком побывала в местах его юношеских похождений. Мне кажется, он сам превратился в Джека юных лет, когда надел синюю фуфайку и надвинул на густые кудри освященную временем фуражку. Его глаза моряка искали и почти не находили перемен. В Валеджо я имела удовольствие присутствовать при встрече Джека со старыми друзьями – Чарли Леграном, о котором так часто упоминается в рассказах «Рыбачьего патруля», и с почтенным стареньким Франком Французом, добрым, благодушным Франком, забывшим прежние терзания ревности.

Как прекрасно было это первое плаванье на «Ромере». Так же прекрасно, как и второе, и третье, как всякий раз, когда мы, по выражению Джека, «отправлялись снарковать». Это был новый медовый месяц. Джек все свободное от управления яхтой и ежедневного писания время посвящал чтению

книг по сельскому хозяйству. Он все глубже и глубже погружался в планы развития Ранчо и разведения скота. Когда мы бросали якорь, он уходил в город или селение, знакомился с фермерами, посещал фермы, изучая на практике скотоводство и уход за лошадьми. Он жил полной жизнью, жизнью, полной глубокого интереса и простых развлечений. Отдых для Джека Лондона заключался не в прекращении работы и мыслей, а в смене их.

По вечерам он удил рыбу и курил, беседуя с Накатой и поваром. В Сакраменто[15] мы наняли лошадей и отправились осматривать рисовые плантации. В Вальнут Грове мы побывали в японско-китайской деревушке, гуляли по узким извилистым улицам, полным игорных и чайных домиков, где женщины, похожие на кукол, под звуки самисенов угощали нас сакэ и макрелью под соей. А в устье реки Фэзер мы посетили малочисленных потомков гавайских моряков, которые радостным изумлением откликнулись на наше приветствие «алоа», оказали нам самое теплое гостеприимство и закормили нас лососиной и окунями.

В декабре мы уже были дома в Вэк Робине и занялись работой, накопившейся в наше отсутствие.

– Бедная маленькая женщина! Она должна расплачиваться за свои удовольствия, – заметил Джек, глядя на мой заваленный письмами и записками стол. – Но они стоят того…

Дом Волка продолжал расти. Двадцать тысяч молодых эвкалиптовых деревьев были посажены в дополнение к первым пятнадцати тысячам. Наши планы все расширялись, а деньги все убывали.

– Не бойся, – утешал Джек. – Смок Беллью поможет нам расплатиться с долгами.

---

[15] Главный город штата Калифорния, расположенный на левом берегу реки Сакраменто.

Джек почему-то считал рассказы о «Смоке Беллью» третьестепенными и писал их исключительно для денег. Между тем они имели громадный успех у широкой публики, и «Космополитен» позднее обратился к Джеку с просьбой продолжать серию этих рассказов.

Весной к нам снова стали съезжаться гости. Приехала, между прочим, и Лили Мейд – прежняя любовь Джека. Джек и до сих пор не переставал восхищаться ее прекрасными волосами и относился к ней бережно и нежно. Она была очень слаба, и когда ей нездоровилось, Джек каждый раз собственноручно носил ей кушанья в маленький деревянный домик, специально построенный для гостей.

Мы с Джеком составили печатный пригласительный листок, который вкладывали в письма к знакомым, преимущественно к лицам, связанным с Джеком социалистическими и сельскохозяйственными интересами. В листке было напечатано следующее:

«Мы живем в великолепной местности в двух часах от Сан-Франциско. Сообщение по двум дорогам – Южной Тихоокеанской и Северо-западной Тихоокеанской.

Оба поезда (или суда, согласованные с поездами) отходят из Сан-Франциско около восьми часов утра.

Дневной Южный Тихоокеанский поезд (или судно) отходит из Сан-Франциско около четырех часов.

Если вы приедете после полудня, то нам удобнее, чтобы вы избрали Южную Тихоокеанскую дорогу, так как тогда вы поспеете к ужину. Обычно мы просим наших гостей обедать на судне, если они приезжают по Северо-западной дороге. Напишите (или телеграфируйте) заранее о вашем приезде, так как мы часто уезжаем из дома. Ваше извещение даст нам возможность встретить вас на станции.

Укажите определенно, каким поездом и по какой дороге вы выезжаете.

Наша жизнь здесь протекает примерно так:

Мы встаем рано и работаем до полудня. Поэтому мы не видим наших гостей до второй половины дня или до вечера. Вы можете завтракать от 7 до 9, а затем мы все встречаемся за обедом в половине первого. Вы найдете это место очень удобным для работы, если у вас есть работа. Если же вы предпочитаете развлекаться, то у нас имеются лошади, седла и экипажи. Летом есть пруд для плаванья.

Мы еще не выстроили собственного дома и живем в маленьком доме возле Ранчо. Для наших друзей выстроены рядом особые маленькие избушки для сна».

Джек был глубоко, пламенно гостеприимен. Он постоянно покупал простыни и одеяла и был страшно доволен, когда все постели были заняты. Он одинаково приветливо встречал людей всех званий, и чужих, и знакомых.

В октябре он подарил мне свою книгу «Дорога» со следующей надписью:

«Моя дорогая, моя женщина, чьи деятельные руки я так люблю, руки, которые работали со мной в течение долгих часов, быстрые, прекрасные в музыке, которые вели «Снарк» по трудным переходам и суровым морям, которые не дрожат на тормозе, которые уверенно и крепко держат поводья чистокровной лошади и неукрощенного жеребца; руки, полные любви, когда они проводят по моим волосам и жмут мою руку крепким дружеским рукопожатием, которые успокаивают так, как только они одни на свете умеют успокоить.

Муж и возлюбленный».

Время и кошелек Джека подвергались постоянным нападениям, и он в конце концов вынужден был заготовить особые формы писем, которые рассылались в ответ на невыполнимые просьбы. Социалистам, предлагавшим ему посвятить себя исключительно пропаганде, посылался следующий текст:

«Дорогой товарищ! К несчастью, я опоздал с работой по договорам на полтора года. В настоящее время мне совершенно невозможно браться за новую работу.

Ваш во имя революции Джек Лондон».

Когда требования от различных библиотек на произведения Джека становились чрезмерно настойчивыми, посылался такой текст:

«Дорогой сэр, не одна и не две библиотеки просят меня прислать мои произведения, а столько, что я просто по материальным соображениям не в состоянии удовлетворить эти просьбы.

Искренно преданный Джек Лондон».

Бесчисленным начинающим писателям – и молодым, и старым, рукописи которых грудами скапливались на ночном столике Джека, – посылалось, в случае полной безнадежности, письмо приблизительно такого содержания:

«Письмо к молодому писателю.

В ответ на ваше недавнее письмо, и с приложением рукописи.

Прежде всего позвольте сказать, что мне как психологу и как человеку, прошедшему огонь и воду, ваша рукопись по психологии и по взглядам понравилась. Но, говоря честно и откровенно, она не понравилась мне с точки зрения литературного очарования и ценности. Ваш труд прежде всего имеет лишь очень незначительную литературную ценность и совсем не обладает литературным очарованием. Вы нашли, что можете сказать нечто не безынтересное для других, но это еще не освобождает вас от старания изложить это нечто наилучшим способом и в наилучшей форме. А между тем и форма и приемы у вас в пренебрежении.

По поводу последнего: что можно ожидать от двадцатилетнего юноши, не обладающего опытом в смысле знания приемов и формы? Боже мой! Мальчик! Ведь вам пришлось бы потратить лет пять на выучку, чтобы сделаться искусным кузнецом. Решитесь ли

вы утверждать, что потратили – нет, даже не пять лет, а пять месяцев – непрерывного труда на изучение орудий работы профессионального писателя, который может продавать свои труды в журналы и получать за это хорошие суммы? Конечно же, не посмеете. Вы этого не делали. Теперь вы должны понять, что тот факт, что успевающие писатели получают целые состояния, объясняется единственно тем, что лишь очень немногие из тех, кто хочет писать, становятся настоящими, имеющими успех писателями. Если требуется пять лет работы на то, чтобы стать хорошим кузнецом, то сколько же лет работы – и работы интенсивной, по девятнадцати часов в сутки, так что один год считается за пять, – сколько лет такого труда на изучение приемов и форм, искусства и ремесла надо, по-вашему, потратить человеку, обладающему природным талантом и имеющему что сказать, чтобы достичь положения в литературном мире, где он будет получать по тысяче долларов в неделю?

Думаю, вы поняли, к чему я веду речь? Человек, который запряжет себя в работу для того, чтобы стать светилом и получать по тысяче долларов в неделю, должен пропорционально этому работать более упорно, чем тот, кто собирается стать светляком и получать двадцать долларов в неделю. Единственная причина, по которой на свете больше преуспевающих кузнецов, чем преуспевающих писателей, это то, что кузнецом стать гораздо легче, чем преуспевающим писателем, и для этого не требуется такой упорной работы.

Не может быть, чтобы вы, в свои двадцать лет, успели проделать всю ту писательскую работу, которая должна принести вам успех. Вы еще не начинали своего учения. Доказательство в том, что вы дерзнули написать эту вещь – «Дневник того, кто должен умереть». Если вы изучали то, что печатается в журналах, вы нашли бы, что ваш коротенький рассказ принадлежит к типу вещей, которые никогда там не печатаются.

Если вы собираетесь писать для успеха и для денег, то вы должны поставлять на рынок доброкачественные вещи. Но ваш короткий рассказ недоброкачествен, и если бы вы посвятили дюжину вечеров хождению по читальням и чтению рассказов, печатаемых в текущих журналах, вы заранее знали бы, что ваш рассказ недоброкачествен.

Есть только один способ приступить к началу, это – начать. Начать с жестокой работы, терпеливо, приготовившись ко всем разочарованиям, которые постигли Мартина Идена, прежде чем он добился успеха, ко всем разочарованиям, которые постигли и меня, прежде чем я достиг успеха, потому что я придал вымышленному характеру, Мартину Идену, весь мой собственный писательский опыт.

Джек Лондон».

Вот еще одно письмо по тому же поводу:

«Каждый раз, как писатель высказывает правду по поводу рукописи (или книги) своему другу-автору, он теряет этого друга или видит, как дружба начинает блекнуть, вянуть и превращается в призрак того, что было раньше. Каждый раз, как писатель говорит правду о рукописи (или о книге) незнакомому автору, он приобретает врага.

Если писатель любит своего друга и боится потерять его, он солжет этому другу. А какой смысл принуждать себя лгать незнакомым людям? Но, с другой стороны, какой смысл наживать себе врагов? Далее, известный писатель обычно бывает завален просьбами от незнакомых людей прочесть их труды и высказать свое суждение. Собственно говоря, это задача какого-нибудь литературного бюро. Если писатель будет настолько безумен, что превратится в литературное бюро, он перестанет быть писателем. У него не останется времени на то, чтобы писать. Затем, взяв на себя роль благотворительного литературного бюро, он не будет получать вознаграждения. Следовательно, он очень скоро окажется банкротом и вынужден будет жить на милости, на содержании у своих друзей (если только он не успеет их всех превратить во врагов, высказав им правду), а жена и дети писателя вступят на печальный путь, ведущий к приютам и богадельням. Симпатия к пробивающемуся незнакомцу – очень хорошее дело. Но таких пробивающихся незнакомцев имеется что-то вроде нескольких миллионов. Ни одна симпатия не может быть использована дальше известных пределов. Симпатия начинается с дома. И писатель, конечно, скорее допустит, чтобы бесчисленные незнакомцы продолжали пребывать

в неизвестности, чем чтобы близкие и дорогие ему люди занимали места в богадельнях.

Искренно ваш Джек Лондон».

В исключительных случаях Джек посылал копии с «Письма к неудачному литератору» Ле Галиенна – документ, не оставляющий никаких сомнений, и к которому совершенно нечего добавить. Но просьбы о деньгах почти никогда не оставлялись Джеком без ответа. Конечно, он удовлетворял их с известным разбором.

В середине апреля мы снова отправились на «Ромере» в тридцатидневное плаванье. Хозяйство осталось на попечении Элизы Шепард, жившей с нами. Ей же был поручен надзор за постройкой дома, которая продолжала подвигаться. Фруктовый сад и виноградники разрастались и образовали амфитеатр вокруг растущей красной скалы нашего будущего замка.

Это плаванье и жизнь на свежем воздухе были необходимы для здоровья Джека. В течение зимы он все время был нездоров. Одна жестокая простуда сменялась у него другой. Нервы его были расстроены постоянными ячменями на глазах и зубной болью.

Так как дом должен был быть готов еще не скоро, мы с Джеком осмотрели старый заброшенный коттедж на только что купленных двенадцати акрах земли. Это был одноэтажный дом в шесть комнат, расположенный рядом с постройкой, и мы решили перебраться в него, чтобы быть поближе к Ранчо, пока не будет окончен Дом Волка. К коттеджу примыкало большое каменное помещение, соединенное с ним крытым переходом. Там мы устроили столовую. Рабочая и спальная комната Джека была на юго-восток. К его большой кровати был приделан особый механизм, поднимавший матрац у изголовья, так что он мог по желанию читать или писать ночью в полусидячем положении. Наката устроил

особый прибор, по которому Джек давал знать, в котором часу он желает встать. Обычно он завтракал в шесть, а вставал в девять. Во время одевания Джек и Наката обсуждали различные вопросы риторики, истории и т. п. или рассуждали на какие-нибудь современные темы. Помимо этих утренних разговоров, Джек вообще посвящал довольно много времени образованию Накаты.

На обязанности Накаты лежало приготовление ночного столика для Джека. Это был целый строго установленный церемониал. На стол клалось множество остро очиненных карандашей, длинные и короткие листки бумаги, несколько пачек папирос, подушечка, утыканная булавками, целые ряды аккуратно подобранных по числам журналов и газет, и ставилось не менее трех бутылок какого-нибудь напитка – фруктовой воды, молока или просто холодной воды.

Эта комната была единственная настоящая рабочая комната Джека. В ней он жил, в ней и умер. В этот домик мы переехали по возвращении из путешествия в экипаже, которое началось в начале июня и закончилось в начале сентября 1911 года.

Глава пятнадцатая. Путешествие в экипаже. Нью-Йорк. Вокруг мыса Горн

Мы отправились в экипаже, запряженном четверкой, из Глэн-Эллена к побережью и к северу до Бандона в Орегоне[16], оттуда в глубь страны, до Медфорда и Ашланда и затем обратно к югу, сделав всего полторы тысячи миль, примерно по тридцать миль в день.

Это путешествие описано в рассказе «Четыре лошади и моряк», а также, как путешествие в фургоне, в «Лунной долине».

Мы не разбивали лагеря. Мы останавливались где хотели. Наката приготовлял нам еду и в жаркие дни раскидывал над нами большой коричневый полог. Я переписывала рукописи Джека на маленькой машинке, а Джек писал, правил и заботился обо всем. Глядя, как он наслаждается юностью и великолепием летней природы, мне казалось, что он правил не лошадьми, а звездами. И действительно, в то время он правил звездами, читал и писал о них.

Но бывали дни, когда я улавливала на его лице какое-то выражение, которого не было до смерти нашего ребенка. По-видимому, даже я тогда не понимала, как эта смерть повлияла на него. В такие дни, по вечерам, когда мы доезжали до намеченной цели, после того, как лошади были убраны, а мы устроены в гостинице или на ферме, Джек отправлялся блуждать по улицам, ища развлечений. Развлечения состояли в новых знакомствах, мужских разговорах, лишних двух стаканчиках выпивки. После этого он возвращался ко мне с особым блеском в глазах и несколько лихорадочно рассказывал о том, что он видел и слышал, с повышенным энтузиаз-

[16] Один из западных штатов Сев. Америки.

мом толковал об оленьих и лосиных рогах или о медвежьей шкуре, которую должны были принести на мое усмотрение.

В течение этого путешествия газеты, как и всегда, не оставляли нас своим вниманием. Изобретательные репортеры выдумывали одну утку за другой. Один сообщал, что Джек Лондон предпочитает в августе голубые пижамы, весной же носит розовые в зеленую полоску; другой писал о том, что Джек на рыбной ловле в штате Вашингтон (где мы вовсе и не были) ловил форелей на бриллиантовую булавку для галстука. Третий изобличал Джека в том, что он затеял драку в кабаке, и т. д., и т. д.

– Что делать несчастному? – рассуждал Джек. – Опровержениям здесь нет места. Если вы обратитесь к ним, они высмеют вас. И потом, нельзя же тратить время на опровержение всей это ерунды.

6 сентября мы вернулись домой, счастливые, отдохнувшие, насыщенные всем, что может дать любовь, дружба, отвага и интерес к жизни. Жизнь на Ранчо была в разгаре. Воздух был полон голосами гостей.

– Вот это я люблю, – говорил иногда Джек, останавливаясь посреди работы. – Мы вместе работаем, а они в это время могут делать все, что им вздумается. Посмотри, вон изгородь с привязанными к ней оседланными, ожидающими лошадьми. Вон двое влюбленных… а вот женатые… А другие играют в карты в столовой, и я присоединюсь к ним, как только кончу это письмо. И если ты ничего не имеешь против, друг, – тут его глаза принимают умоляющее выражение, – ты примешь людей, которые придут к обеду, а я успею сразиться с Георгом и отомстить ему за свое вчерашнее поражение. Послушай, как девочки щебечут под фиговым деревом. А кто это там упражняется на пианино? Друг, понимаешь ли ты, как я все это люблю?

В те дни, по выражению одного из наших друзей, «дом был насыщен нашей нежностью друг к другу».

Мы обедали в половине первого, так как это время было самым подходящим и в отношении работы и в смысле общей жизни Ранчо. В полдень Наката приносил мне почту в большом кожаном мешке, и за полчаса до обеда я разбирала ее. Джек успевал проглядеть газеты, прочесть письма и дать указания относительно ответов. Я всегда старалась переписать обычные десять страниц его рукописи до первого удара гонга. Этот гонг был древний вогнутый диск из меди и бронзы, вывезенный Джеком из Кореи. Обычно я, по просьбе Джека, являлась к обеду минута в минуту, он же работал до последнего мгновения.

Я уверена, что у всех, бывавших на Ранчо, сохранилась память о безбородом патриархе, всегда приветливом и гостеприимном. За обедом он читал газетные новости, рассказывал о полученных письмах или с обычным своим энтузиазмом бурно спорил на какую-нибудь волнующую его тему. Он никогда, ни физически, ни духовно, не оставался без дела. Он поспевал за всем – и за игрой, и за работой, и за мыслью. Улыбаясь, лицо его стягивалось в морщины – морщины смеха и мысли. У него никогда не было седых волос, и на его руках – это было его гордостью – никогда не вздувались вены. «Человек молод, насколько молоды его артерии», – всегда говорил он. Но обычно самое большое впечатление на людей производили его глаза: «Сталь и роса…». «Нежность и скрытая жестокость…». «Они как будто скрывают глубокие и ужасные тайны…». «Такие глаза, наверное, часто встречались, когда мир был молод…». «Живые, как будто для него мир – постоянное поле битвы…», – это отзывы самых разнообразных людей.

К концу обеда Наката клал рядом со мной блокнот и карандаш, так как на моей обязанности лежало высчитывание нужного количества лошадей, седел, уздечек, верховых костюмов, а в купальный сезон и купальных костюмов для вре-

менных гостей – от двух до дюжины. Иногда мы заказывали упряжку четверкой, и Джек в мягкой белой рубашке и штанах цвета хаки, шумный, веселый, показывал красоты цветущей долины восхищенным и испуганным быстрой ездой мужчинам и детям.

В тот год нами был впервые принят на службу человек, выпущенный из государственной исправительной тюрьмы в Сен-Квентике. Принципы Джека, а также его собственный опыт пробудили в нем желание давать работу тем, кто имел несчастье попасть в эти громадные серые здания, которые мы так часто видели с палубы «Ромера». Такие служащие сменялись у нас много лет подряд. По вопросу об улучшении тюремных условий Джек писал: «Я мало верю в тюремные реформы. Тюрьмы только признаки. Пытаясь реформировать тюрьмы, вы пытаетесь лечить признаки болезни. Болезнь остается».

Среди наших гостей был Эд Морель. Его собственный поразительный опыт, а также близкое знакомство с такими знаменитыми, стоящими вне закона людьми, как Зонтаг и Эванс, послужили Джеку источником и дали ему сюжет для романа «Межзвездный скиталец». Помню, как Джек был потрясен, с каким глубоким волнением он рассказывал мне о рубцах, оставленных смирительной курткой на спине Мореля.

В 1911 году вышли четыре книги: «Когда боги смеются», «Приключение», «Путешествие на «Снарке» и «Сказки Южных морей».

Работы было много. Каждая минута бодрствования была заполнена. Трудность заключалась в том, чтобы найти время для сна. И все же мы считали этот год каким-то неполным, так как никуда не уезжали далеко от дома. В моем дневнике есть запись: «Друг работает по вечерам. Он страшно занят. Моя голова устает, когда я думаю обо всем, что должно уместиться в его голове».

24 декабря мы выехали в Нью-Йорк, где и встретили Новый год.

– А потом, – объявил Джек, – мы отправимся вокруг мыса Горн.

Он также объявил мне, что намерен вступить в решительный бой с алкоголем и что, когда мы отправимся вокруг мыса Горн, он навсегда распрощается с «Джоном-Ячменное зерно». Я могла только приветствовать такое решение. Правда, Джек не напивался пьян так, как напиваются многие мужчины.

Алкоголь являлся для него лишь стимулом, повышающим активность его и без того сверхактивного мозга. Но в припадке «белой логики» он бывал смел, готов на спор, безрассуден телом и душой, сметал все перед собой и бывал нетерпим к мужчинам и женщинам, не понимавшим его путей. Такое ненормальное состояние в соединении с общей подавленностью, которую он всегда испытывал в Нью-Йорке, становилось опасным, и я день за днем с нетерпением поглядывала на календарь: когда же кончится наше пребывание в Нью-Йорке?

– Нью-Йорк – это дикий мальстрем, – говорил Джек. – Рим в самые его дикие дни не может идти в сравнение с этим городом. Здесь произвести впечатление важнее, чем сделать доброе дело…

После долгих-долгих лет я вспомнила, как он однажды, в начале нашей семейной жизни, сказал мне:

– Не забывай, чем я был и через что я прошел. Может быть – заметь, я говорю – может быть, – настанут такие времена, когда искушение «пуститься по ветру» хотя бы на день, хотя бы на час снова поднимет голову.

В эту зиму он предложил однажды и мне принять участие в «стремлении по ветру».

– Если у тебя хватит смелости, мы можем «нестись по ветру» вместе. Это могло бы быть страшно забавно. Представь

такую штуку: мы сядем в поезд подземной дороги и доедем до самого конца. Потом выйдем, пойдем в каком угодно направлении и позвоним у двери любого приглянувшегося нам дома. Затем, когда нам откроют двери, мы приветливо скажем «Добрый вечер» и войдем, все время разговаривая так, как будто мы старые друзья тех, кто там живет. Конечно, они подумают, что мы сумасшедшие, и чем мы будем проще и фамильярнее, тем больше они будут волноваться. А потом пошлют за полицией. Но что толку рассказывать – ведь ты не согласишься.

Я считаю чудом, что с ним не случилось несчастья. Однажды, сидя в парикмахерской, он заметил, что бривший его парикмахер дрожит как в лихорадке.

– В чем дело? – ласково спросил Джек. – Весело провели ночь?

– Несколько ночей, – ответил парикмахер, стуча зубами и осторожно оглядываясь по сторонам. – Не знаю, как мне удастся побрить вас или кого другого.

И Джек, сидя под вихляющейся бритвой парикмахера и понимая, что парикмахеру угрожает опасность потерять работу, посоветовал ему «как-нибудь справиться», а сам он шума поднимать не будет.

– Но, голубчик, – воскликнула я, – ведь он мог перерезать тебе горло!

– Ну, – отвечал Джек, – он был в ужасном состоянии. Не мог же я встать и уйти, выдав его всей мастерской! Уверяю тебя, мне это не доставило ни малейшего удовольствия.

Не знаю, приходило ли ему в голову сравнить свой поступок с поступком Стивенсона, который принял у прокаженного полувыкуренную папиросу и докурил ее, чтобы не обидеть его. Джек часто рассказывал этот случай, как последний пример своего собственного представления об «игре».

В плаванье вокруг мыса Горн мы отправились вчетвером: Джек, я, Наката и трехмесячный щенок-фокстерьер Поссум.

Поссум фигурирует в «Лунной долине», которая была закончена во время его плаванья, а также в «Мятеже на «Эльсиноре».

Во время плаванья Джек делал многочисленные заметки для «Джона-Ячменное зерно» и написал короткий морской рассказ «Горшок смолы».

Мы вышли в море при сильном ледяном ветре. Но я не жаловалась на холод. Для меня не существовало ничего, кроме сознания, что земля осталась позади и что мне предстоят долгие месяцы блаженного морского житья, с его очищающей простотой. За все эти сорок восемь дней плаванья мы только раз видели землю. И это действительно был конец земли, иной земной поверхности – мыс Горн и вдали материк и остров. Сквозь воду и туман показался даже Диего Рамирец, мрачный каменный пик на юге континента. Хотя мы с трудом удерживали курс на запад и нас время от времени уносило назад, мы все же сделали переход «от 50 до 50» в пятнадцать дней – с такой быстротой, о которой лучшие моряки не смеют и мечтать.

Мы проводили на палубе по меньшей мере три часа в день: Джек читал вслух, я вышивала. Затем мы боксировали, играли с Поссумом или, захватив книги и вышивку, для моциона взбирались на главную мачту и проводили чудеснейшие часы между небом и «хмурым морем».

Когда мы обогнули мыс Горн, Джек принялся за ловлю альбатросов. У меня до сих пор хранятся шкурки в двенадцать футов длины.

Дома меня ожидало большое огорчение. Через три месяца после возвращения Джек в разговоре за столом заявил, что будет продолжать пить понемногу, с друзьями.

– Я впервые в жизни в течение месяцев был свободен от алкоголя. Алкоголь совершенно изгнан из моего организма. И теперь – тоже впервые в жизни – я поставил себя в такие условия, что могу пересмотреть весь вопрос об алкоголе с

точки зрения моего организма и моего мозга. К величайшему своему удовлетворению я узнал, что я не алкоголик в собственном смысле этого слова. И, следовательно, когда я на суше, я буду пить так, как пьете вы, случайно, свободно, не потому, чтобы алкоголь был необходим для поддержания моего физического состояния, но потому, что мне так хочется, может быть, для социальных целей. Мне нечего бояться, что он покорит меня.

Я знала, что он говорит с убеждением, что его решения по этому вопросу вполне честны, но все же я чувствовала, я знала, что он не сможет осуществить свой идеальный план.

Глава шестнадцатая. Дурной год (1913)

Джек обычно называл 1913 год «дурным годом», хотя он принес нам не только одни огорчения, но и много хорошего. Джеку казалось, что в этот год случилось все, что только могло огорчить его. Прежде всего умерла одна женщина, его давнишний друг, которую он в последние годы видел очень редко. Затем его племянник, сын Элизы, Ирвинг Шепард пролежал у нас в тяжелой болезни несколько месяцев. Самому Джеку пришлось сделать операцию аппендицита. Одна из самых дорогих кобыл была найдена застреленной на пастбище. Весной было очень мало дождя. «Ложная весна» вызвала преждевременное цветение и слишком раннее появление плодов, которые все были побиты морозом. Но как будто всего этого было мало – Калифорния была наводнена кузнечиками, которые повредили даже маленькие эвкалиптовые деревья.

– Очевидно, Бог не любит фермеров, – вздыхал Джек в унисон со своей обескураженной сестрой. – Взгляните на это прекрасное полувзошедшее кукурузное поле, теперь спаленное, иссушенное солнцем и северным ветром.

В довершение всего один кинематографический делец возбудил против Джека дело. Вопрос был в том, имеет ли Джек авторское право на свои произведения. Джек вложил в борьбу всю энергию, на которую был способен, так как его поражение было бы поражением всех американских писателей. Его поддерживала в этой борьбе Американская лига писателей. Дело кончилось ничем, так как делец был настолько, очевидно, не прав, что судья отказал ему в судопроизводстве; но волнений мы пережили много. Во время подготовки к бою Джек временами приходил в такое неистовство, что я начинала бояться за него.

– Если они подловят меня, – сказал он как-то, – знай, мы потеряем все, что имеем, все, даже Ранчо. Но это не беда: у меня остается моя творческая способность. Мы купим большое судно, вроде тех, что мы видели в прошлом году в Аламеде, возьмем с собой твое большое пианино и навсегда уедем из этой страны, где свора театральных мошенников и крючкотворов-законников может отнять у человека весь его жизненный труд. Пошлем их всех к черту. Что же, мы можем даже принимать грузы тут и там, по всему свету, чтобы судно окупило себя. Что ты на это скажешь друг-женщина?

Что я на это скажу? Мой ответ был короток и ясен. Гости в Ранчо могут подтвердить, что Джек был обрадован и восхищен моим отношением к делу в этот мрачный период.

– Поверите ли, – восклицал он, – она, кажется, разочарована, что нам не пришлось пуститься в вечное плаванье!

Я действительно была разочарована. Ведь я знала, насколько он был спокойнее и радостнее душой на море, вдали от неприятностей и забот.

Но все неприятности стушевались и побледнели в его глазах, когда я внезапно тяжело заболела. Он забросил и Ранчо, и литературную работу, и множество интересовавших его дел.

– Друг-женщина! – сказал он мне. – Я всегда подозревал, что у меня есть сердце, но теперь я знаю это. Я чувствую себя самым бодрым человеком на свете – у меня есть сердце. Когда я столкнулся лицом к лицу с возможностью потерять тебя, это сердце поднялось мне прямо в горло. Но я проглотил его и заставил спуститься. Право, я чуть не умер.

А своему близкому другу он признался:

– Если что-нибудь случится с Чармиан, я покончу с собой. Не стану и пытаться жить без нее.

В январе 1913 года, во время плаванья на «Ромере», Джек приступил к первой главе «Мятежа на «Эльсиноре». Роман был кончен в августе. Эта работа очень захватила Джека.

Чтобы облегчить работу нам обоим, Джек приобрел диктофон. Сначала я была недовольна, потому что это нововведение нарушало уют наших рабочих часов. Но потом я примирилась с этим, тем более что, переписывая то, что Джек продиктовал, я в конце каждого цилиндра получала от него приветствие.

Со страстностью и нетерпением всякого настоящего строителя Джек заложил все, что только было возможно, даже коттедж, выстроенный для Элизы, чтобы только достроить к зиме Дом Волка. Постройка быстро приближалась к концу. 22 августа мы с Джеком осматривали дом и восхищались им. Джек не находил слов для похвал. Могли ли мы думать, что шесть часов спустя все это будет объято пламенем!

Пожар вспыхнул ночью. Услышав голоса, я проснулась и кинулась к Джеку. У его постели уже стояла Элиза. В направлении Дома Волка, в полумиле от нас, подымались клубы дыма и пламя. Мы сейчас же заложили экипаж и, оставив Накату сторожить дом, отправились к Ранчо.

– К чему спешить? – спокойно сказал Джек. – Если загорелся большой дом, ничто не в силах остановить огонь.

Вся окрестность сбежалась к дому Джека. Общее сочувствие было очень сильно, и, мне кажется, если бы в этот момент был обнаружен преступник или преступники, поджегшие дом, с ними быстро было бы покончено. Дом пылал. Великолепная красная черепичная крыша уже провалилась. Единственно, что оставалось делать, это по возможности отстаивать прилегающий к дому лес. Джек спокойно расхаживал кругом и отдавал распоряжения.

– Что же вы не плачете, не волнуетесь, вообще ничего не проявляете? – спросил кто-то из соседей. – Как будто вы не понимаете, что с вами случилось!

– К чему? – повторил Джек. – Это не восстановит дома. А его можно восстановить.

Джек все время сохранял спокойный, сдержанный вид, но позже, в четыре часа утра, дома, когда напряжение несколько ослабилось, он рыдал, как ребенок, над жестоким, бессмысленным разрушением дома, его мечты – его «Дома Волка».

– Дело не в денежном убытке, хотя это тоже довольно серьезно, особенно в настоящее время, – говорил он, – самое ужасное – это бессмысленное уничтожение такой красоты.

Мы так никогда и не узнали, кто был преступник, поджегший дом. Я чуть было не написала «убийца», потому что потеря дома действительно что-то убила в Джеке. Он никогда не мог примириться с глубоким внутренним значением этой потери. Слишком это было жестоко и бессмысленно. Совершенно незнакомые нам люди – и не только женщины – плакали, глядя на пожарище, и кричали: «Бедный Джек!» Старший каменщик казался отцом, потерявшим ребенка. Рабочие были в отчаянии.

Пожар произошел в пятницу. В понедельник Джек приступил к постройке забора из серого камня вокруг дымящихся стен, получивших отныне название «Руины».

Многие социалисты, друзья Джека, не раз обращались ко мне с вопросом: зачем он затеял постройку такого большого дома. Как ответить на это? Джек не умел довольствоваться маленьким масштабом. Все, что он делал, он делал широко. Он любил большие крепкие вещи, любил простор и прочность. Маленький коттеджик, в котором мы жили, совершенно не соответствовал нашим потребностям. Такому неутомимому, систематичному работнику, как Джек, нужна была подходящая обстановка для работы, ему надо было иметь все необходимое под рукой. Между тем две трети его библиотеки пришлось поместить в сарае, в полумиле от дома, что, конечно, было крайне неудобно. В большом доме мы предполагали отвести под библиотеку особое крыло. Над библиотекой должна была помещаться рабочая комната

Джека. Кроме того, Джек мечтал принимать в большом доме друзей, знакомых, случайных странников, бродяг – всех желающих принять его широкое и щедрое гостеприимство. Ему нужен был простор во всем, что он делал, нужен был размах в писании, в приключениях, в фермерстве. Фермерство поглощало у него все больше и больше времени, стало его любимым делом.

– Когда я вернусь в молчание, – говорил он, – я хочу знать, что оставил после себя клочок земли, который, после тщетных попыток других, сумел сделать плодородным… Это ведь не только для нас. Кто придет после нас, друг-женщина? Кто пожнет, что я посеял в этой всемогущей прекрасной стране? И ты, и я – мы будем забыты. Другие придут и уйдут так же, как ушли мы, и еще другие займут их место, и каждый будет говорить своей возлюбленной, как я говорю тебе: жизнь прекрасна.

После потери дома Джек твердо решил не поддаваться унынию и еще более деятельно занялся Ранчо. И так же как раньше он любил, чтобы его называли моряком, шкипером, капитаном за его великую любовь к морю, так теперь ему нравилось, когда его называли «фермер». Его главным желанием было превратить истощенную, одичавшую местность в плодородную и цветущую.

Спокойствие и тишина Ранчо теперь сменились непрерывным гулом. Далекие взрывы динамита говорили о новой эре в этой дремотной, древней стране. Джек приобрел несколько чистокровных лошадей и поместил их в образцовой каменной конюшне, где над каждым стойлом висел особый листок с правилами ухода за лошадьми.

Новый жизненный интерес Джека – улучшение фермерства в Сономе – настолько захватил его, что он даже несколько забросил писание и посвятил себя целиком сельскохозяйственным опытам. Его достижения заинтересовали прессу –

не только газетных репортеров, но и специальную прессу. Один сельскохозяйственный журнал заявил даже, что «идеи Джека Лондона о профессии фермера принесут миру больше добра, чем все, что он когда-нибудь написал». Сам Джек на запросы отвечал следующее:

– Когда я купил первые сто двадцать девять акров земли возле Глэн-Эллена девять лет тому назад, я ничего не знал о сельском хозяйстве. Почва была совершенно истощена. Мои соседи почти все принадлежали к тому типу, что и человек, сказавший мне: «Вы не научите меня ничему новому в деле фермерства. Я выжал все, что было возможно, из трех ферм», – замечание столь же мудрое, как и слова женщины, заявившей, что она знает все, что надо знать об уходе за детьми, так как она похоронила пятерых.

Я решил ничего не брать от Ранчо. Я вкладывал в него все, что получал. Я первый в этой местности приобрел распределитель навоза. Я начал покупать племенной скот, и теперь я продаю девятимесячную кровную свинью за сорок долларов. Старозаветный фермер удивляется и не может понять, почему ему приходится кормить жалкую свинью в течение двух лет, а потом продавать ее меньше чем за сорок долларов.

Джек выстроил первый в Калифорнии бетонный силос[17] двенадцати футов в диаметре и пятидесяти футов в вышину. Он заложил для этого кукурузу и даже бросил писанье, чтобы принять участие в увлекательной работе – помочь пускать в резку. Он постоянно был в восторге:

– На холм не было доставлено ничего, кроме бетона, – ликовал он. – Я собственными машинами раздробил каменные глыбы, добытые моими собственными орудиями и

---

[17] Хранилища особенным образом заготовляемых на зиму водянистых кормов для скота. Обычно силос представляет собой яму с вертикальными стенками, выложенными кирпичом на цементе. Иногда строят и над землей так называемые «силосы-кучи».

динамитом и привезенные моими собственными вьючными животными. Мой работник сделал известковый раствор. Мои десятидюймовые черепичные дренажные трубы для вон тех полей люцерны сделаны здесь же на месте. И все это образует дамбу в устье этого единственного углубления горы для того, чтобы удержать семь миллионов галлонов воды для ирригации. А какое давление для пожарной охраны!

Этот резервуар действительно оказал громадное влияние на улучшение посевов, а полуискусственное озеро, образовавшееся на лугу у опушки леса, было чрезвычайно живописно.

Свиной хлев, изобретенный Джеком, прославился на весь мир. Он был построен из камня и бетона; в центре его возвышалась башня, где приготовлялся и откуда распределялся по различным стойлам корм. Затем Джек увлекался идеей восстановления истощенных кукурузных полей системой террас, или, по его выражению, «фермерством по уровням». По этой системе все склоны холмов, истощенные неправильной обработкой, могли быть превращены в цветущие поля. Двенадцать акров были засажены французскими сливами. На месте старых запущенных виноградников был посеян ячмень вперемежку с викой. Постепенно на Ранчо стали появляться куры, гуси, фазаны, утки. Появились и ульи. Когда деревенский кузнец ликвидировал свою кузницу, Джек скупил у него все оборудование, перенес на Ранчо и пригласил двух постоянных кузнецов. По этому поводу местная газета обратилась к Джеку со следующим призывом: «Добрый малый Джек! Почему бы вам не приехать еще раз на своей фуре и не забрать с собой на Ранчо весь Глэн-Эллен?

Действительно, наше Ранчо было «Ранчо Добрых Намерений», как называл его Джек.

В сентябре мы отправились на ярмарку в Сакраменто. А в середине октября мы радостно отчалили на старом добром, вечно дорогом «Ромере».

– Несмотря на все, что случилось с нами в этом году, – заметил Джек, стоя на палубе и глядя на небо и на воду спокойными, уверенными глазами, – мне все кажется теперь, что этот год был одним из самых счастливых.

А утром во время работы он внезапно закричал:

– Я буду жить сто лет!

– Почему? – спросила я.

– Потому, что я так хочу!

Для Джека и для меня проводы старого года и встреча нового на море были верхом блаженства. Все шло хорошо. Но по приезде в Сан-Рафаэль Джеку внезапно пришлось уехать в Нью-Йорк по делам. Дело шло о театральных правах на его роман. Джек дал одному из своих друзей право на переделку романа в пьесу, тот заключил контракт с театральным агентом, взял под контракт деньги и в течение нескольких лет ничего не сделал. Теперь театральный агент соглашался на расторжение договора при неустойке в сорок тысяч долларов – сумма, конечно, непомерная. Джек был заинтересован в расторжении договора, так как к тому времени возник вопрос об использовании этого романа для кино. Джек потратил месяц на то, чтобы уломать «разбойника». В конце концов ему пришлось прибегнуть к тому, что он называл «актерством», для того, чтобы прийти к какому-нибудь более или менее приемлемому исходу.

Расскажу о том, как Джек заставил «грабителя» подписать приемлемое условие. Тот без конца оттягивал дело, то соглашался, то брал свои слова обратно, одним словом, совершенно истощил терпение Джека. Тогда Джек решил заполучить его к себе и для этого сослался на нездоровье и на скорый отъезд. Театральный агент, правда нехотя, должен был согласиться приехать в гостиницу к Джеку. Тогда Джек начал готовиться к представлению.

– Если бы ты меня видела! – хохотал он. – У меня был вид, способный внушить страх божий любому жулику этого

сорта. Я в течение двух дней нарочно отпускал бороду, ты ведь знаешь, какая у меня черная борода. Затем я расстегнул ворот пижамы так, чтобы видны были волосы на груди, вынул вставные зубы, взлохматил волосы и надел на глаза абажур. Я был не слишком красив. Услышав шаги, я уселся в постели и поставил кресло спиной к двери, чтобы ему трудно было выбраться, если бы он захотел бежать. Все это выглядит прескверно, я вижу по твоему лицу, но подумай, ведь я сражался с ним в течение целых недель! Он даже соглашался на мои условия и обещал прислать мне бумагу о расторжении договора, но потом мне пришлось ждать целые долгие дни, не получая от него ни слова и откладывая возвращение домой. Наконец я твердо решил призвать его к порядку хотя бы таким фантастическим способом. Боже мой! Это было в десять раз более законно, чем все его грязные приемы.

Но вернемся к делу. Он вошел, стараясь не выказывать удивления при виде того, что я собою представлял. Темная растительность на лице и шее, волосы на груди, свирепая беззубая улыбка – я был ужасен. Он держал документ в руке. Я взял его и прочел. Затем я некоторое время задумчиво смотрел то на один, то на другой кулак, я продирал ими глаза. Я разговаривал с ним и незаметно наблюдал за его жалким и испуганным лицом и душою. Он отдал бы все за то, чтобы не сидеть в этом кресле. Затем я пересмотрел все дело, повторил все, о чем мы говорили во время наших многочисленных свиданий, и он в конце концов согласился на одну десятую своего первоначального требования. Он сказал: «Я сейчас отправлюсь прямо к себе в контору и тотчас же пришлю вам соглашение». Но я ждал этого и решил не дать ему улизнуть еще раз. Я сказал: «Вы подпишете эту бумагу сейчас же, вон на том столе, иначе вы не уйдете из этой комнаты». А когда он запротестовал, я встал, сжимая кулаки, и начал рассказывать ему, что я с ним сделаю, если он откажется. Он

взглянул на телефон, на дверь и увидел, что попал именно в то положение, какого я желал. Он подписал расторжение, и оно осталось у меня… И теперь мне придется в течение долгих месяцев выплачивать ему деньги…

Когда мы вернулись домой, нас ожидали нерадостные вести: лучший коротконогий бык сломал себе шею, и почти все породистые честерские свиньи погибли от холеры.

– Мне как будто суждено все, что я делаю, делать дважды, – вздохнул Джек.

По возвращении он приступил к новому роману: «Маленькая хозяйка большого дома», в котором собирался изложить все свои взгляды на сельское хозяйство и скотоводство. А затем, имея в виду длинное путешествие, он повел переговоры с одним восточным еженедельным журналом относительно серии статей со всего мира. Переговоры шли о том, чтобы начать с Японии. Я была страшно рада при мысли о том, что моя давнишняя мечта осуществится и я вместе с Джеком попаду на эти сказочные острова. Но весной 1914 года начались беспорядки в Мексике, и Джек получил предложение от Коллиера отправиться в Мексику в случае объявления военных действий.

– Наконец-то я реабилитирую себя как военного корреспондента! – мечтал Джек.

Если бы он только знал, как трудно исполнить это намерение, он отказался бы от поездки. Коллиер просил его телеграфировать, как скоро он сможет собраться и выехать по получении извещения.

– В двадцать четыре часа, – ответил Джек.

16 апреля, после обстрела морской академии в Вера-Крусе, мы получили извещение и выехали из Глэн-Эллена на следующее же утро.

– Я провожу тебя до Гальвестона, – сказала я, полагая, что дальше мне нельзя будет сопровождать его.

– Ты не успеешь собраться, – ответил Джек.

– Я не успею? – и я кинулась к чемоданам.

– Ну, если уж ты поедешь так далеко, я, пожалуй, могу взять тебя в Вера-Крус, даже если бы тебе пришлось побыть там, пока я буду в Мексике.

Так решил Джек к великой моей радости. И мы поехали.

Перед отъездом он подарил мне экземпляр «Лунной долины» и написал на нем:

«Дорогая моя женщина! Это наша «Книга Любви». Здесь, в нашей «Лунной долине», где мы жили и познали любовь в тот день, когда вместе ездили верхом к разделению холмов… Нет, еще раньше, еще раньше».

В Гальвестоне нам пришлось немного задержаться из-за недоразумения. Генерал Фунстон заподозрил Джека в том, что он является автором одной только что появившейся газетной утки. Скоро недоразумение было ликвидировано, и Джек получил возможность отправиться в Вера-Крус на истребителе.

Он искренне восхищался и порядками в Темпико, и гаванью Пага-Паго, и той организованностью, которую внесли в Вера-Крус армия и флот.

«Если бы только эта чистота и организованность опирались не на идею милитаризма, а на идею социального усовершенствования! Не будем бесцельно разрушать эти великолепные машины, эти мировые капиталы, это выгодное и дешевое производство! Будем контролировать их: будем пользоваться их выгодой и дешевизной».

Кроме Джека, в Мексике было много других военных корреспондентов, и все они сидели на месте, сокрушаясь по поводу бездеятельности мексиканской армии. Когда пришло известие о том, что Хуэрт убежал из Порто-Мексико, все

пришли в мятежное настроение; многие корреспонденты нарушили данное слово и отправились в столицу, где и были арестованы. Джек решил не нарушать слова, данного генералу Фунстону, и поехал в Темпико много позднее. Я осталась в Вера-Крусе, понимая, что буду для Джека только помехой.

Но военных действий все не было и не было, и Джек проводил время в писании статей на общие темы, в купании, верховой езде и разговорах с офицерами. Мы вместе посетили госпитальное судно. Раненые, читавшие Джека Лондона, очень обрадовались, увидев автора. Эти бедняги были предшественниками многих тысяч других раненых всех возрастов и классов; рассеянные по госпиталям Европы, они тоже искали в книгах Джека временного облегчения и забвения. Английские солдаты называли эти книги «Джеклондоны».

В то время как Джек, сидя в Вера-Крусе, работал, развлекался и выжидал дальнейших действий, в газетах появилось известие о том, что «Джек Лондон предводительствует армией мексиканских мятежников». По-видимому, в Мексике действительно было какое-то лицо с этим именем, так как позднее нам часто приходилось слышать о людях, которые встречались с «Джеком Лондоном» в Мексике и Нижней Калифорнии.

30 мая, в день, назначенный для полета на военном аэроплане, Джек слег в постель с жестокой дизентерией. Наката и я ухаживали за ним с бесконечной осторожностью и отчаянно боролись за его жизнь. К счастью, его организм обладал колоссальной восстановительной способностью, и через девять дней больного уже можно было перенести на судно, отправлявшееся в Гальвестон.

– Если что-нибудь произойдет в Вера-Крусе – хоть это и маловероятно, – я еще успею вернуться, – утешал себя Джек. – Но сейчас я хочу домой, на Ранчо, где хороший климат и хорошая еда… Знаешь ли ты, что в тех ящиках на палубе? Там

бедняги, которые погибли в четыре дня от того, через что я прошел благополучно.

Известие о войне в Европе страшно потрясло Джека. И несмотря на то что он продолжал заниматься Ранчо и своей литературной работой, война заполняла все его мысли. Но на все предложения поехать в Европу военным корреспондентом он отмалчивался и в 1914 году и позднее.

– Я повторяю, что японцы навсегда покончили с военными корреспондентами и доказали, что они не нужны. Если бы я пошел на эту войну, то только для того, чтобы сражаться.

Но я убеждена, что, если бы у него была хоть малейшая надежда увидеть то, что он хотел видеть, он немедленно поехал бы в Европу.

Летом мы снова отправились в плаванье на «Ромере», а в декабре Джек закончил роман «Маленькая хозяйка большого дома».

Глава семнадцатая. 1915 год. Снова Гавайские острова. Глэн-Эллен

Во время плаванья на «Ромере» Джек начал писать рассказ о собаке под заглавием «Джерри». За этой книгой последовала вторая книга – «Майкель» – так же, как за «Зовом предков» последовал «Белый Клык».

Когда мы прибыли в Стоктон, друзья уговорили нас временно покинуть яхту и отправиться в Сиерру. Там мы катались с гор и бегали на коньках. Но больные лодыжки Джека давали себя знать, и по ночам у него бывали приступы судорог.

– Становлюсь стар, старею, старею, – ворчал он сквозь зубы, когда я бинтовала ему ноги. – Понимаешь ли ты, что твоему мужу скоро стукнет сорок?

В тот период в нем вообще как будто сидела какая-то болезнь. Не успели мы вернуться на Ранчо, как судороги сменились приступом ревматизма.

– А какая погода! – сердился Джек, лежа в постели и указывая на мокрые ландшафты за окном. – Прошлой зимой не хватало дождей. В этом году мы затоплены. Нет, Бог не любит фермеров. А все-таки плотина удерживает часть дождей, дело налаживается, дело налаживается.

Мы вовсе не собирались ехать на Гавайские острова, и наше решение было чисто случайным. Джек твердо решил остаться дома и привести в порядок денежные дела. Но неожиданно «Космополитен» предложил ему временно освободить его от беллетристики для того, чтобы он мог сопровождать Атлантический флот и президента через Панамский канал на Тихоокеанскую выставку. Джеку не хотелось уезжать из дома и отрываться от работы.

Конечно, я не могла участвовать в поездке на военном судне и покорилась своей женской участи. Но я не хотела

оставаться в Калифорнии во время отсутствия Джека и решила отправиться в Гонолулу, где зимовали мои родные. Джек был немного озадачен при мысли, что его маленькая женщина отправится куда-то одна.

– Я не хочу ехать в это проклятое путешествие в Панаму, – жаловался он. – Я хочу ехать с тобой на Гавайские острова и работать над «Джерри» и «Майкелем».

И как же он был доволен, когда европейские осложнения привели к отмене задуманного путешествия. Он с восторгом сообщил мне, что мы оба поедем на Гавайские острова. Только когда мы уже стояли на палубе парохода и прощались с друзьями, он признался, что поехал только для того, чтобы не разочаровывать меня.

– Я бы не должен был уезжать теперь, когда у меня столько дела. Но я не мог представить себе твое лицо, когда я сказал бы тебе, что ты все-таки должна ехать одна.

– Я бы и не поехала одна, – ответила я. – Я осталась бы дома с тобой. Но ведь это было бы первый раз в жизни, что дела удержали тебя дома. Ты всегда умел устраивать все на расстоянии; ведь есть же почта и телеграф.

Мы взяли с собой слуг и поселились в маленьком хорошеньком коттедже. Рабочее время мы распределили так же, как дома. Утром работали, а день проводили на взморье. Каждый день после завтрака Джек, в кимоно, усеянном голубыми цветами, с головой, обмотанной полотенцем, отправлялся вместе со мной на взморье. Там мы в течение долгих веселых часов лежали в тени, на песке, между варварскими черно-желтыми каноэ[18], читали вслух, играли. Потом мы кидались в море, уплывали далеко за буруны и наслаждались чудесными мгновениями среди волнующейся, ласкающей стихии, между небом и землей, где все вопросы

[18] Туземная лодка.

теряют свою остроту, где мы просто и торжественно могли говорить о самом главном, что есть в человеческих отношениях.

В Глэн-Эллен нас ожидали неприятности с Обществом виноградного сока. Еще до отъезда в Мексику было основано общество для массового производства прекрасного виноградного сока, который мы до этого времени приготовляли для себя. Но в компании оказались нечестные люди, которые доставили Джеку много неприятностей.

– Что же делать? – спрашивал Джек. – Ведь я взялся за самое чистое дело – изготовление наилучшего из всех известных безалкогольных напитков – и вот что из этого вышло… Но зато наше озеро полно воды, а это означает больше жизни, означает лучшие сливки от наших маленьких джерсейских коров, означает больших жеребцов, лучший убойный скот и тому подобное.

Он наполнил озеро рыбой, привезенной из реки Сент-Джоакина, и это было большим приобретением и для стола, и для спорта.

В это время завязалась переписка между Джеком и издателем «Космополитена» о «Кинематографическом романе», основанном на сценарии Годдарда, автора многих «боевиков экрана». Главы этого романа должны были появляться на столбцах газет и одновременно на экранах кинематографов. Джек сначала был не особенно расположен браться за эту работу, но, так как она временно освобождала его от обязательного писания беллетристики и сулила ему круглую пятизначную сумму, он принял приглашение «Космополитена».

Джек никогда не переставал утверждать, что ненавидит писание и что ему постоянно приходится принуждать себя к работе. Однажды он написал одному из своих поклонников:

«Позвольте сказать, что я завидую вам. Вы обожаете писать, вы наслаждаетесь писанием, вы влюблены в него, тогда как я потерял всю радость писания после появления моей первой книги. Я каждый день принимаюсь за дело, как раб, идущий на работу. Я ненавижу писать. Но все же это лучший из всех способов, какие я мог бы придумать для того, чтобы создать себе хорошую жизнь. И вот я продолжаю писать».

Джек договорился с мистером Годдардом и решил писать свой кинороман на Гавайских островах, куда Годдард должен был высылать ему главы сценария. В 1916 г., закончив этот роман, Джек Лондон написал в Уайкики предисловие, чтобы объяснить, каким образом он был вовлечен в такое странное предприятие. «Действительно, – говорит он в этом предисловии, – это произведение юбилейное. С его завершением я праздную свое сорокалетие и свою пятидесятую книгу, свой шестнадцатый год писательства и новое достижение. Я до сих пор никогда не писал ничего подобного и почти уверен, что никогда больше не напишу ничего подобного».

Они назвали эту вещь «Сердца трех». Один английский критик совершенно правильно заметил, что эту вещь следует рассматривать как шутку, как самое приключенческое, веселое, нелепое и невозможное произведение на свете. Так рассматривал и оценивал эту работу сам Джек. Он успел получить деньги за «Сердца трех», но напечатаны они были уже после его смерти. По неизвестным мне причинам эта вещь не появлялась на экране до 1921 года.

В 1915 году мы, к глубокому нашему сожалению, лишились Накаты. Его отняли у нас женитьба и карьера. Не знаю, кто из нас был больше огорчен, – думаю, что Джек.

Теперь я подхожу к самому последнему и самому трудному моменту своего повествования. Рассказать факты нетрудно: в марте мы отплыли на Гонолулу, наняли старый просторный бунгало в Уайкики и зажили самой веселой и

приятной жизнью, изредка предпринимая экскурсии в глубь страны. А через семь месяцев вернулись в Калифорнию.

Это внешнее. Трудность заключается в том, чтобы описать этот последний период жизни Джека Лондона так, чтобы те, кто читает о нем, не слишком удивлялись тому, что Джек, так любивший жизнь, по совершенному невниманию к самому себе сам лишил себя возможности дальнейшего самовыявления.

Джек в течение долгих месяцев самым интенсивным образом читал произведения лучших психиатров, а также труды по психоанализу. Часто он читал эти книги мне вслух или делился со мной своими мыслями по этим вопросам. Однажды летом 1916 года, во время одного из наших разговоров, я заметила, что он был взволнован не только тем волнением, которое обычно сопровождало у него всякое завоевание мысли, но, по-видимому, нашел здесь нечто соответствующее его собственной интуиции. Его глаза горели, как звезды, и я никогда не слыхала у него такого пророческого голоса.

– Друг-женщина! Говорю тебе: я стою у порога нового мира, такого неведомого, такого ужасного, такого чудесного, что боюсь заглянуть в него.

Я заглянула вместе с ним за порог этого нового мира, старого, как время, и начала понимать, что это могло означать для него, предчувствовавшего эти бездны много лет назад, когда он писал «Зов предков», а может быть, и еще раньше. Временами, когда он говорил мне о том, чего он надеется достичь в своих изысканиях при помощи психоанализа, я бывала захвачена этими видениями. Но то, что он мечтал совершить, было настолько ужасно, настолько чудесно, что наши обычные чувства заставляли отшатнуться от этих перспектив. Джек считал, что, если он мог научиться анализировать душевное содержание каждого человека и подвести

его к свету поверхностного сознания, он мог бы анализировать также и душу расы и проследить ее в глубину веков, до самого темного ее истока. Когда он говорил об этом, его глаза становились пророческими, глубокими, как столетия.

Он прилагал свои принципы ко всем встречным, может быть, несколько более, чем следовало бы. Если раньше он пользовался окружающим миром и его обитателями, чтобы поддержать в себе интерес к «игре», то теперь он пустился в рискованное предприятие: в «игру с душами». Он воскресил свои старые, давно забытые причуды и капризы и пропустил их сквозь горнило психоанализа. Он производил с окружающими самые неожиданные эксперименты. Но большинство обнажаемых им душ было не того качества, которое могло бы быть полезным для его изысканий, и я думаю, что его опыты принесли ему именно то, чего я боялась: разочарование в человечестве.

Физически Джек чувствовал себя плохо, но на все мои просьбы и замечания о недостаточности питания и упражнений он неизбежно отвечал: «Все в порядке. Не беспокойся. Ты никогда не встаешь вовремя, чтобы посмотреть, как я завтракаю: три чашки кофе, гора сливок, два яйца всмятку и половина большой папайи[19]».

Только через несколько месяцев я узнала, что каждый день этот обильный завтрак бывал для него потерян. Его «железный желудок» и Богом данная способность спать когда угодно изменили ему. Доктора нашли у него каменную болезнь.

Даже узнав о зловещем предсказании докторов, Джек не принял никаких мер, чтобы отсрочить день своей смерти. Его друзья-доктора, лечившие его, предостерегали его и просили выдерживать диету, но он не желал отказываться от сырой аку (макрель) и, кроме фруктов, не признавал никакой растительной пищи.

---

[19] Гавайский фрукт.

Упражнения, кроме редких случайных купаний у самого берега, были заброшены. Каждый день я звала Джека поплавать со мной, и каждый день он сначала соглашался, но потом его инертность брала верх, и он в кимоно и соломенных туфлях плелся в гамак и оттуда следил за тем, как я плаваю. Он не мог даже дойти до трамвая, и когда ему нужно было ехать в город за три мили, чтобы побриться, он вызывал автомобиль. Когда мы не ждали гостей, он проводил целый день в купальных трусиках, кимоно и сандалиях – не потому, что так было прохладнее, а потому, что ему трудно было сделать усилие и одеться. В гостях он просиживал за длинными обедами, не прикасаясь к еде, а когда встревоженная хозяйка обращала его внимание на нетронутое кушанье, он повторял всегда один и тот же классический рассказ о сытном завтраке. Пил он очень умеренно: «Иногда мне кажется, что мой организм настолько насыщен алкоголем, что начинает протестовать, – замечал он не раз. – Посмотри, какой маленький стаканчик, а ведь это сегодня первый». Он продолжал мечтать о законе, запрещающем продажу алкоголя.

На Гавайских островах Джек по большей части пил сладкие напитки или легкое пиво, когда мы по вечерам сидели в открытых кафе. Главным его развлечением была игра в карты – в бридж и покер. В нем чувствовалась какая-то тревога, которую он пытался заглушить всеми возможными способами. Мы танцевали, ездили в театр, сидели в кафе, с утра уже к нам приезжали гости и оставались играть в карты, потом к купанью приезжала вторая партия, к обеду третья. Мы жили в каком-то водовороте. Часто, когда я по телефону приглашала гостей сразу на какие-нибудь три развлечения, Джек подходил, шлепая своими соломенными сандалиями, и говорил: «Раз ты у телефона, пригласи заодно и на завтра». Казалось, он боится остаться наедине с самим собою.

Один из наших соседей в Гонолулу спросил как-то Джека: «Почему у вас ежедневно обедает до двенадцати человек?» –

«Потому, что больше за наш стол не усядется», – ответил Джек.

Что он переживал, что скрывалось за его синими, как звезды, глазами, которые еще никогда не были так прекрасны, как в то лето на «Счастливых островах»? Почему он не сделал ни единой попытки бороться со своей болезнью? Он, такой неутомимый боец, отказывался бороться за свое погибающее тело, отказывался проявить свою мощную волю, чтобы сохранить физическую силу. Наоборот, он как будто стремился – может быть, бессознательно – к прекращению каких бы то ни было усилий. Я не знаю и никогда уже не узнаю этого. Я знаю только, что он приближался к концу своей жизни.

В последние шесть недель пребывания на Гавайских островах Джек как будто вернул себе свое здоровье, бодрое «я». В это время мы предприняли поездку вокруг большого острова, описанную в моей книге «Джек Лондон и Гавайские острова». Это было путешествие неомраченной радости. Мы строили планы будущего, о том, как мы вернемся и сделаем все, чего еще не успели сделать.

– Я думаю, – говорил Джек, вспоминая об этих днях, – что это самые счастливые полтора месяца в моей жизни.

В это путешествие он закончил «Майкеля, брата Джерри» и написал свой последний привет островам – три статьи, напечатанные в «Космополитене» под заглавием «Мое гавайское Алоа». Затем он написал еще несколько мелких рассказов, вошедших в сборник «Красное божество», появившийся уже после его смерти.

За несколько месяцев до отъезда Джек послал Социалистической партии извещение о своем выходе. Причины последнего удивили многих его знакомых-радикалов, смеявшихся над тем, что Джек, по их мнению, стал кротким.

– Радикалы! – пренебрежительно говорил Джек. – В следующий раз, когда я попаду в Нью-Йорк, я отправлюсь в стан

этих людей, называющих себя радикалами. Я выскажу им кое-что и покажу им, что их радикализму грош цена… Я покажу им, что такое радикализм!

Вот письмо, в котором он заявил о своем уходе:

«Гонолулу, 7 марта 1916 года.

Глэн-Эллен. Коунти. Сонома, Калифорния.

Дорогие товарищи! Я ухожу из Социалистической партии, потому что в ней отсутствуют огонь и борьба. Потому что ее напряжение в классовой борьбе ослабло.

Я первоначально был членом старой, боевой Социалистической рабочей партии. С тех пор и поныне я был активным членом Социалистической партии. Мои боевые выступления за дело не совсем забыты даже теперь. Будучи воспитан для классовой борьбы, как ее проповедовала и практиковала Социалистическая рабочая партия, и основываясь на собственных рассуждениях, я думал, что рабочий класс своей борьбой, своей непримиримостью, своим отказом идти на соглашение с врагом сможет освободить себя. Но так как за последние годы все социалистическое движение в Соединенных Штатах стало миролюбивым и компромиссным, мое сознание отказывается санкционировать дальнейшее мое пребывание в партии. Отсюда мой выход.

Пожалуйста, примите также извещение о выходе моей жены, товарища Чармиан К. Лондон.

Скажу напоследок, что свобода, воля и независимость – вещи великолепные, и они не могут быть подарены или вверены расам или классам. Если расы и классы не способны восстать и силой своего ума и своих мускулов вырвать у мира свободу, независимость и волю – они никогда не получат этих великолепных вещей… И даже если эти великолепные вещи будут им любезно преподнесены на серебряных подносах высшими индивидуальностями, то они не будут знать, что им делать с этими вещами, они не сумеют воспользоваться ими и будут тем, чем они были в прошлом, – низшими расами и низшими классами.

Ваш во имя революции Джек Лондон».

– Кто же ты теперь? – спросила я Джека. – Как ты будешь называть себя? Революционером? Социалистом? Или как-нибудь еще?

– Боюсь, что я никто, – спокойно ответил он. – Я – все это вместе. Индивидуальности разочаровывают меня все больше и больше. И я все больше и больше возвращаюсь к земле… Может быть, я мог бы назвать себя синдикалистом. Пожалуй, классовая солидарность, выраженная в виде общей стачки, может явиться способом, которым рабочие победят мир и добудут то, что им нужно. Это воскресит Каина, но, по-видимому, невозможно ничего совершить, не воскресив Каина. Мировая стачка даст невероятные результаты. Но они не могут сплотиться – слишком много эгоизма и инертности.

За три месяца до смерти Джек написал на моем экземпляре «Маленькой хозяйки большого дома»:

«Годы проходят. И ты, и я проходим. Но любовь наша остается – еще крепче, еще глубже, еще уверенней, потому что мы построили нашу любовь друг к другу не на песке, а на скале. *Твой муж и возлюбленный*».

На книге «Черепахи Тэсмана» он написал:

«После всего, и всего, и всего – мы здесь во всем, во всем, во всем. Иногда мне хочется взойти на вершину Сономской горы и крикнуть миру о тебе и о себе. Наши руки всегда сплетены. *Друг-мужчина.* Ранчо. 6 октября 1916 г.».

Глава восемнадцатая. Последнее лето. 1916 год

В августе мы вернулись с Гавайских островов, и Джек снова погрузился в планы расширения Ранчо и восстановления Дома Волка. Он писал Элизе еще из Гонолулу, прося ее закупить строительные материалы. Но Элиза не исполнила его поручения, и не только потому, что не было денег: она всегда интуитивно чувствовала, когда Джек бывал болен или когда с ним было неладно. Так и теперь. Увидев Джека на пристани, она сразу сказала: «Наш Джек не вернулся к нам».

17 августа он кончил рассказ, начатый на пароходе, «Канакский прибой», а 3 сентября другой рассказ – «Когда Алиса открыла свою душу». Оба рассказа включены в островные рассказы. Во втором рассказе Джек при помощи психоанализа рисует женщину, которая стремится освободить свою душу от скоплявшихся в ней за всю жизнь секретов. В конце концов она исповедуется какому-то исповеднику-метису типа воскресных проповедников. Во второй половине сентября Джек написал опыт психологического анализа – «Как Аргус древних времен». На некоторых страницах этой вещи изображен сам Джек под видом юного Ливерпуля.

В сентябре мы поехали на ярмарку в Сакраменто, где Джеку пришлось слечь в постель на восемь дней из-за острого приступа ревматизма. Боли были настолько сильны, что пришлось прибегнуть к наркотикам. В промежутках между приступами мы читали, играли в карты, принимали гостей. Я массировала больную ногу и этим часто помогала Джеку уснуть. Джек старался скрыть тревогу, овладевшую им при мысли о будущем. «Если я даже стану калекой, то у меня ведь будет бесконечно много времени для чтения. Я буду самым счастливым из всех страдальцев». Но он не старался ускорить наступление этого счастливого дня и на этот раз исполнял

предписания докторов. Все мясные блюда были изгнаны из обихода, и мне пришлось изощрять свою изобретательность, придумывая разные салаты и вегетарианские блюда.

В октябре Джек собрался ехать в Нью-Йорк, но в это время против него началось судебное дело. Ему хотели запретить пользоваться водой из пограничной речки, воды которой были ему необходимы для его хозяйственных планов. Знакомые все думали, что он уехал в Нью-Йорк, так что эти последние недели мы провели в тесном домашнем кругу, за что не перестаю благодарить судьбу. Все время я чувствовала, что он в тревоге, что он как будто мчится куда-то, что его мозг работает с невыносимой скоростью, что мысли налетают одна на другую, как волны, и что весь вопрос в том, как долго может протянуть человек при такой безудержной работе ума и таком абсолютном пренебрежении к собственному телу.

Иногда он бывал спокоен, и мы проводили чудеснейшие вечера – он за чтением, я за вышиванием. Прежде Джек не любил, когда я занималась рукоделием, но в последние годы его взгляд изменился, а моя философия рукоделия так ему понравилась, что он включил ее в «Маленькую хозяйку большого дома».

Но иногда по поводу какого-нибудь случайного слова он приходил в ярость – бурную или холодную. Тогда я молча давала ему успокоиться, понимая, как ему самому, должно быть, тяжело.

В середине октября открылся охотничий сезон, и Джек, отбросив всякие опасения, начал питаться почти исключительно дичью. Для него, отравленного уремией, такое питание было равносильно самоубийству.

На все мои просьбы и замечания он отвечал только: «Ведь это так вкусно. Не забывай, что я по природе плотоядный».

Я помню, как одна наша знакомая, женщина-врач, посетившая нас, спросила меня, неужели Джек Лондон сумел

приучить свой желудок к таким количествам недожаренной дичи? Ведь это убило бы всякого, кроме разве какого-нибудь особенно здорового мужчины.

28 октября Джек написал следующее письмо в ответ на какой-то запрос нью-йоркской газеты. По-видимому, дело шло о том, живы ли еще *Приключение и Романтика.*

«Джентльмены! Когда я лежу на мирном берегу Уайкики на Гавайских островах, как это было в прошлом году, какой-то незнакомец представляется мне как лицо, управляющее делами капитана Келлера, и когда этот незнакомец объясняет мне, что капитан Келлер нашел свой конец и что его голова отрезана и прокопчена охотниками за головами с Соломоновых островов, в юго-западной части Тихого океана, и когда я вспоминаю, как много кратких лет назад капитан Келлер, юноша двадцати двух лет, владелец шхуны «Евгения», проводил со мной не одну ночь, играя в покер до рассвета, и угощался вместе со мной гашишем с дикой шайкой в Пендуфрине, и, когда я разбился о наружный риф Малу у острова Малаита, где на берегу поджидали полторы тысячи дикарей-охотников за головами, вооруженных седельными пистолетами, винтовками, томагавками, копьями, боевыми дубинками, луками и стрелами, а вокруг нас плавали боевые каноэ, наполненные морскими охотниками за головами и людоедами, окружая нас, четверых белых, включая и мою жену, – вспоминаю, как капитан Келлер, прорвавшись на вельботе, с экипажем, состоявшим из негров, явился неожиданно к нам на помощь с подветренной стороны, босой, полуобнаженный, одетый лишь в набедренную повязку и шестипенсовую нижнюю рубашку, с двумя ружьями, привязанными к туловищу, когда я вспоминаю все это, я говорю, лежа на мирном берегу Уайкики, что *Приключение и Романтика* еще не умерли».

В ноябре Джек получил предложение через своего лондонского агента написать свою автобиографию для лондонского журнала «Уайд Уорлд Магазин» и охотно принял его, так как нуждался в деньгах.

Ему несколько раз приходилось ездить в суд по поводу дела о воде и каждый раз он возвращался оттуда разбитый и больной. 10 ноября, после четвертого выступления в суде, он вернулся домой в ужасном виде. К вечеру у него появились все симптомы отравления птомаинами[20]. Когда припадок миновал, я серьезно поговорила с ним и выяснила, что он, кроме всего, страдает еще и сильной дизентерией. Но он и на этот раз остался глух к моим уговорам и продолжал питаться недожаренной дичью. Ему становилось все хуже и хуже. Скоро слегла и я. По-видимому, у меня был просто упадок сил вследствие нервного переутомления. Слишком сильны были постоянные волнения и тревога за Джека. За день до моей болезни к нам приехали фотографы, чтобы снять Джека для кино. Они снимали его в самых разнообразных позах, и я случайно при двух или трех съемках заметила в его лице нечто новое, что заставило меня содрогнуться. Это можно было бы назвать мертвенностью, отсутствием жизни – чем-то, чего не должно быть у бодрого человека. Но на других фотографиях – Джек с ружьем, Джек, улыбающийся с высокого сиденья водовозной бочки, Джек, управляющий двумя чудовищными лошадьми, запряженными в навозоразбрасыватель, – он был полон жизни, очарования и весел, как всегда.

Я была очень огорчена, когда 19 ноября, в годовщину нашей свадьбы, не могла спуститься в столовую. Джек пришел ко мне, и мы вспомнили, что через несколько дней мое рождение. Я родилась и вышла замуж в один и тот же месяц. Могла ли я представить себе, что этот же месяц будет и месяцем моего вдовства? Но несчастье висело в воздухе, я чувствовала его дыхание – в этом была вся моя болезнь.

---

[20] Азотистые вещества, возникающие из белков и других органических соединений при гниении. Многие из них очень ядовиты (например, рыбные, колбасные яды).

21 ноября Джек собрался осмотреть новый участок земли и пришел звать меня с собой. Но я была еще слишком слаба, и он ушел разочарованный. Вернулся он оживленный, веселый, но ночь провел плохо и встал совсем больной. Желудок отказывался служить. Дизентерия обострилась. Выглядел он ужасно.

Работал он в эти дни уже очень мало. В этот день он написал всего несколько страниц – последние в своей жизни. Вот его последние литературные заметки, найденные в его ночном столике:

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ»

«Мартин Идэн» и «Морской волк», атаки на ницшеанскую философию, которую не поняли даже социалисты».

«Роман»

«Исторический роман в восемьдесят тысяч слов: любовь – ненависть – примитивность. Открытие Америки северянами – см. мою книгу об этом, см. также Мориса Хьюлетта – «Фрей и его жена». Интерпретация генезиса их мифов и т. д. из их собственной бессознательности…»

Вечером Элиза пришла переговорить с ним о делах Ранчо. Джек с трудом вышел из состояния какого-то оцепенения, встряхнулся и начал обсуждать волнующие его вопросы об открытии на Ранчо школы, магазина и почтового отделения. Эти вопросы поднимались уже не в первый раз.

– Здесь достаточно детей, чтобы открыть школу. Служащие Ранчо могут жить здесь, работать за хорошую цену, рождаться, расти, учиться, и, если умрут, они могут, по желанию, быть похоронены здесь, на Маленьком холме…

Через пять дней на Маленьком холме лежали его собственные останки.

Элиза впоследствии говорила мне, что она была испугана безумной работой его ума, когда дело шло о перспективах Ранчо. Ей казалось, что это уже переходит в манию. Она соглашалась с ним на словах, но не могла представить себе, как она сможет выполнить его колоссальные задания. Может быть, человек меньшего масштаба в агонии развивающегося самоотравления не был бы одержим такой манией.

Даже при современном знании человеческого тела ученые не умеют точно определить яды, вызывающие уремию. Они определили болезнь Джека как «желудочно-кишечную уремию». Все симптомы были налицо уже давно: желудочное расстройство, бессонница, приступы меланхолии, дизентерия, ревматические отеки, тупые головные боли. Конвульсий не было, и единственной была та, при которой он испустил дух.

Окончив разговор с Элизой, Джек вышел ко мне на террасу, где я ждала его к ужину. Он почти ничего не стал есть и все время рассказывал мне о своих планах и делах.

– Помнишь человека, который приходил на днях и пытался заинтересовать меня маленькими холмами к северу от нас? Мне не нравятся его спекуляции. Если бы я захотел принять участие в этой грязной игре, я мог бы покупать землю и перепродавать бедным людям за большие проценты, как он это делает… Но нет, я не добываю денег такими способами. Да, женщина… ведь мои руки чисты, не правда ли?

Я могла от всего сердца согласиться с ним. Его дела всегда были чисты: и его призвание – писание книг, и его любимое дело – сельское хозяйство.

В этот последний вечер он не просил музыки, не играл, как обычно, с Поссумом, которого он так любил за его маленький смелый ум, за его большое сердце, за его страсть к игре, за прекрасные зовущие глаза. Когда через шесть месяцев маленькая собачка погибла, утонув в озере, я похоронила ее собственноручно на холме рядом с хозяином, где и подобает лежать верному псу.

Мы поговорили еще с полчаса, потом его возбуждение упало, и я с тревогой ждала, что оно сменится приступом меланхолии. Он взял два деревянных лотка, на которых был приготовлен материал для его ночного чтения.

– Посмотри, – сказал он глухим, безжизненным голосом, указывая на брошюры и журналы, – погляди: все это мне предстоит прочесть сегодня ночью.

– Но тебе совсем не надо читать всего этого, друг! Помни, ты работаешь и перерабатываешь так по своему желанию, наверно, потому, что сам выбрал работу вместо покоя, я всегда повторяю тебе это.

Завязался разговор об относительности ценностей. Затем Джек поставил лотки с журналами и газетами, подошел ко мне и прилег возле меня на диване.

– Друг-женщина! Друг-женщина! Ты – все, что я имею, последняя соломинка, за которую я цепляюсь. Ты должна понять. Если ты не поймешь, я погиб. Ты – все, что я думаю.

– Я понимаю! – закричала я, прижимая его голову к своей груди со всем материнским чувством своего сердца. – Я понимаю, что это слишком много для тебя, что ты слишком напрягаешься, чтобы все сделать. Разве ты прикован к колесу, разве ты не можешь перестать, остановиться немного, оставить на время работу и мысль? Ты слишком спешишь. Ты слишком много знаешь. Ты болен. Если ты не остановишься, что-нибудь должно будет произойти. Ты устал, ты ужасно устал, смертельно устал! Что нам делать? Мы не можем так продолжать!

Его глаза были в тени, я их не видела, но уголки рта дрожали. Мой бедный мальчик, он действительно смертельно устал. Около часа мы лежали молча, обмениваясь ласковым пожатием руки. Немногие фразы, сказанные в этот вечер, слишком священны и слишком интимны, чтобы передавать.

Потом он тихо встал, обнял меня.

– Я так устал от недостатка сна. Пойду лягу.

Потом добавил:

– Хорошо, что ты ничего не боишься.

Я никогда не узнаю, что он хотел сказать этими словами. Может быть, он предчувствовал то «невероятное», что ожидало его, знал, что я скоро буду погружена в отчаяние, буду лишена его дорогой дружбы.

После его ухода я еще долго размышляла о том, как мне заставить его успокоиться и вернуться к прежним привычкам и здоровому образу жизни. В девять часов я поднялась к себе, и, заглянув к Джеку, увидела, что он крепко спит.

Глава девятнадцатая. 22 ноября. Последний день. Похороны

На следующее утро, открыв глаза, я увидела, что около меня стоит Элиза, а за ней Секинэ.

– Что случилось? – закричала я, зная, что только крайность могла заставить ее разбудить меня.

– Секинэ не мог добудиться Джека. Не лучше ли вам пойти посмотреть, что с ним?

Еще с порога комнаты я услышала его тяжелое прерывистое дыхание. Джек лежал на боку, без сознания, обнаруживая симптомы сильного отравления: красное вздутое лицо, инертное тело, тяжелое, затрудненное дыхание. Я кинулась к полке с медицинскими книгами, ища «первой помощи». С помощью крепкого кофе нам удалось к приезду доктора вызвать нечто вроде реакции.

Один из докторов остался с нами на всю ночь, и мы все вместе боролись за жизнь Джека. К полуночи мы добились реакции в его закатившихся глазах и в подошвах ног, но нам ни разу не удалось заставить его сознательно сделать какое-нибудь усилие. Только поддерживая его с обеих сторон, удавалось удержать его в сидячем положении на краю кровати. Воля и тело не могли работать в контакте, и за весь день только несколько раз в его лице промелькнуло сознание. Он был бессилен сделать какое-либо движение, но иногда нам удавалось добиться полусознательного ответа на наши тревожные возгласы, которыми мы старались вернуть его к жизни.

– Проснись! Проснись! Плотина прорвалась!

При этом крике в глазах Джека показался проблеск внимания. Он сейчас же угас, но нас обрадовало даже это.

Мы продолжали наши попытки, но в конце концов я убедилась, что чем больше мы прилагали усилий к тому,

чтобы воскресить его, тем упорнее он сопротивлялся нам. Я внутренне отказалась от борьбы и надежды. Но я должна была сделать еще одно: установить с ним духовное общение, сохранить последнее воспоминание на грядущие тяжелые годы одиночества.

– Пустите меня, – сказала я. Они посадили его на край кровати. Его бессильные ноги свешивались на меховой ковер. Я крепко схватила его за плечи и, глядя ему прямо в лицо, стала повторять:

– Друг! Друг! Ты должен вернуться! Ты должен! Ко мне! Друг! Друг!

Он вернулся. Да, он вернулся. Медленно, как бы подымаясь из бездонных пучин вечности. В его глазах сверкнуло сознание. Он совершенно сознательно взглянул на меня, и его рот улыбнулся мгновенной, искаженной, но все же улыбкой. Но этого было мало. И я снова начала звать его… снова и снова. И он опять вернулся, и снова между нами было священное понимание в этот последний миг его жизни. Снова улыбка – улыбка приветствия и прощания с жизнью, которую он так любил, или любви. И он улыбнулся потому, что своим сопротивлением победил нас и достиг «последнего Ничто», приподнял занавес над «тьмой, окружающей конец жизни».

Мне хочется верить, что он, одинаково любивший и жизнь, и смерть, вспомнил о своем давнишнем обещании: «Смерть сладка… Смерть – покой… Подумай – вечный покой. И я обещаю тебе, где бы, когда бы я ни встретился со смертью, я встречу ее с улыбкой».

Человек, которым он всегда восхищался – Роберт Луис Стивенсон[21],– тоже встретил смерть улыбкой. Он сказал ей: «Я ждал тебя все эти годы. Дай мне руку. Добро пожаловать».

---

[21] Английский писатель, автор прекрасных романов приключенческого жанра («Остров сокровищ» и мн. др.).

К вечеру у нас появилась было надежда, что его жизнеспособность совладает с этой ужасающей мертвенностью. Но он не в силах был сделать еще усилие, и нам пришлось признать, что он быстро угасает.

Джека перенесли на террасу, где он провел столько счастливых часов. Здесь он и умер, на том самом диване, на котором двадцать четыре часа назад взывал ко мне: «Ты должна понять. Ты – все, что у меня есть».

Мы ждали. Его дыхание, которое несколько было улучшилось и подало нам новые надежды, перешло в тяжелый хрип. Промежутки между вздохами становились все длиннее… вот длинная пауза… другая… и полное молчание…

Никто не шевельнулся. Мы сидели неподвижно, пока Секинэ, с лицом, как восточная маска слоновой кости, не подошел ко мне и не склонил передо мной головы.

Потом все ушли, и мы с Джеком остались одни. В последний раз.

Вечером, когда мы с Элизой вошли в его комнату, там все было приготовлено на ночь. На ночном столике стояли очиненные карандаши, папиросы, бумага, бутылки с молоком. И казалось невероятным, бессмысленным, что хозяин этой комнаты лежит тут же, в этом доме, холодный и неподвижный. Я взглянула на Секинэ.

– В нашей стране мы всегда так делаем для умерших, – ответил он, – и… и вот, я подумал…

Раза два в этом году Джек, говоря о своей возможной смерти, сказал нам:

– …Положите мои останки на Маленьком холме, а сверху навалите красную глыбу от развалин Дома Волка. Не надо много народу. Позовите Георга.

Все было сделано, как он хотел. Но прежде пришлось дать место официальному погребению. Я осталась дома, а Элиза проводила тело Джека из Глэн-Эллена в оклендский крематорий. Эти официальные похороны мало соответство-

вали вкусам Джека, но я чувствовала, что не имею права препятствовать желаниям его дочерей и их матери. Что же касается сожжения, то Джек незадолго до смерти писал по этому поводу в Союз крематориев Америки.

Вот выдержки из его письма:

«Глэн-Эллен, 16 октября 1916 года.

Дорогой доктор Эриксон… Кремация – единственно приличный, правильный и разумный способ освободить себя от мира, когда мир освободит себя от вас. Это также единственный честный способ по отношению к нашим детям и внукам и всем последующим поколениям. Зачем омрачать ландшафты и цветущую почву своей заплесневевшей памятью? К тому же история свидетельствует о том, что все эти эгоистические усилия тщетны. Лучшее, чего достигли фараоны своими памятниками, – это то, что они сохранили несколько сморщенных реликвий для музеев».

26 ноября мы зарыли урну с останками Джека на Маленьком холме и сверху навалили красный камень. Не было ни пышности, ни речей. Никто не сказал ни слова. Никто не призывал богов. Мужчины молча, с обнаженными головами, стояли между деревьями.

Когда мы повернули домой, мне пришло в голову, что эта скромная могила под большой сосной – памятник. Смерть Джека не была похожа на смерть. Природа подняла якорь, и он, «отважный моряк зелено-синего моря», отчалил с отливом, доблестный, победоносный… к западу… к раю зеленых полей, с океанами парусов за холмами. Этот памятник на склоне горы не мог стать местом скорби, не мог омрачить очарования и радости этого горного склона. Маленький холмик Джека, поющий с птицами, звучащий вместе с ветром, качающим вершины деревьев, призывает лишь к созерцанию и тихой грусти. И пилигрим, стоящий над красным камнем, может сказать:

Клянусь черепахами Тэсмана – это был человек!

Содержание

Чармиан Лондон

Жизнь Джека Лондона

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru